

Антология искушений

Редьярд
Киплинг

КЛЕЙМО ВЫМЫСЛА



Антология искушений

Оскар Уайльд
Клеймо зверя (сборник)

«ВЕЧЕ»

2011

Уайльд О.

Клеймо зверя (сборник) / О. Уайльд — «ВЕЧЕ»,
2011 — (Антология искушений)

ISBN 978-5-4444-7480-8

Не дай вам бог осквернить языческое божество в храме какой-нибудь экзотической страны, например Индии! Герой рассказа неудачно пошутил, потушив сигару об голову каменного божка. В этот же день с ним стали происходить страшные превращения, которым невозможно найти объяснения ни медицине, ни здравому смыслу. Кто из нас не мечтает всегда оставаться молодым. У Дориана Грея это получилось, но какую страшную цену он заплатил за вечную молодость и красоту! Его порочные поступки оставались безнаказанными, но был ли он счастлив?

ISBN 978-5-4444-7480-8

© Уайльд О., 2011

© ВЕЧЕ, 2011

Содержание

Клеймо зверя	6
Агасфер	15
«Ворота Ста Печалей»	18
Через огонь	22
Захолустная комедия	25
Оскар Уайльд	32
Предисловие	32
Глава I	34
Глава II	42
Конец ознакомительного фрагмента.	46

Редьярд Киплинг Клеймо зверя

© ООО «Издательство «Вече», 2011

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2014

Сайт издательства www.veche.ru

* * *

Клеймо зверя

*Кто знает,
чьи боги могущественнее —
твои или мои?*

Индийская пословица

Как считают некоторые, к востоку от Суэцкого канала Провидение, опекающее христиан, перестает вмешиваться в их дела; человек оказывается во власти божеств и демонов Азии, и Бог англиканской церкви проявляет к нему весьма поверхностный интерес лишь изредка и только в том случае, если этот человек — англичанин.

Если принять эту теорию, то станет понятно, почему в Индии происходят ужасы, без которых вполне можно было бы обойтись; ею же при желании можно объяснить случай, который я собираюсь рассказать.

В роли свидетеля может выступить мой друг Стрикленд, который служит в полиции и знает об индийцах все, что стоит знать. То, что видели мы со Стриклендом, видел также и наш врач Дюмуаз. Но он сделал из увиденного ложное заключение. Его уже нет в живых, он умер весьма странной смертью, я описал ее в другом рассказе.

Когда Флит приехал в Индию, у него было немного денег и участок земли в Гималаях неподалеку от селения, которое называется Дхармсала. И деньги, и земля достались ему после смерти дяди, и он приехал вступить во владение наследством. Был он высок, грузен, добродушен и на редкость безобиден. Туземцев, конечно, знал плохо и все сокрушался, что язык ему никак не дается.

Перед Новым годом он прискакал из своего имения в предгорьях Гималаев к нам в город и остановился у Стрикленда. В новогоднюю ночь в клубе закатили грандиозный банкет, и стоит ли упрекать его участников, что вино лилось рекой. Когда в дружеском кругу собираются люди, съехавшиеся со всех концов страны, им сам Бог велел пить и веселиться. С границы прислали лихих молодцов, которые не ставят в грош не только чужую жизнь, но и свою собственную; они за целый год если и видели двадцать белых лиц, то это великая удача, а обедать ездят в соседний форт за пятнадцать миль, рискуя получить отравленную стрелу туда, где так уютно греет выпитый виски. На радостях, что никакая опасность сейчас молодцам не грозит, они стали играть в бильярд свернувшимся в клубок ежиком, которого нашли в саду, а один расхаживал по гостинной с фишкой в зубах. Приехавшие с юга плантаторы морочили разными небылицами Величайшего Враля Азии, а он расскажет одну-единственную историю — и всех их за пояс заткнет по части выдумок. Кого здесь только ни было, происходил как бы смотр наличных сил, подсчитывали потери за минувший год, перечисляли убитых и выбывших из строя. Выпито было немало, я помню, как мы пели «За дружбу старую до дна, за счастье прежних дней», и море нам было по колено, завоевать кубок чемпионов по игре в поло казалось нам плевым делом, душу переполняли честолюбивые мечты, мы клялись друг другу в вечной дружбе. Потом кто-то из нас уехал и присоединил к владениям Британской империи Бирму, кто-то попытался окончательно прибрать к рукам Судан и поплатился за это головой во время жаркой битвы с дервишами в колючих зарослях под Суакином, кто-то дослужился до высоких чинов и наград, кто-то женился, и ничего хорошего из этого не вышло, кто-то совершил еще более предосудительные поступки, кто-то остался тянуть лямку здесь в надежде составить себе состояние без особых приключений.

Флит начал ужин с шерри и аперитивов, до самого десерта пил шампанское бокал за бокалом, потом перешел к неразбавленному, обжигающему внутренности «Капри», который по крепости не уступает виски, выпил с кофе несколько рюмок «Бенедиктина», в бильярдной

опрокинул четыре или пять стаканчиков виски с содовой – для точности удара, в половине третьего подали жареное мясо с пивом, и завершил он все старым выдержанным бренди. Вследствие чего, выйдя в половине четвертого утра на четырнадцатиградусный мороз, он чрезвычайно рассердился на свою лошадь за то, что на него напал кашель, и попытался вскочить в седло. Лошадь сбросила его и вернулась в конюшню; пришлось нам со Стриклендом сопровождать Флита домой в качестве не весьма почетного эскорта.

Путь наш лежал через базар мимо маленького храма, посвященного Хануману – божественной обезьяне, которая особо почитается в стране. Все боги достойны уважения, равно как и их служители. Лично я очень расположен к Хануману и питаю самые добрые чувства к его соплеменникам – большим серым обезьянам, которые обитают в горах. Никто ведь не знает, когда нам понадобится помощь друга.

В храме горели светильники, и когда мы проходили мимо, то слышали священные песнопения. Жрецы индийских храмов всю ночь славят своих богов. Флит ринулся вверх по ступенькам, – мы не успели его удержать, – похлопал по спине двух жрецов и принялся деловито тушить окурок сигары о лоб Ханумана, вырезанного из красного камня. Стрикленд силился оттащить Флита, но тот уселся на пол и торжественно изрек:

– В-в-видели? З-зверь теперь... ик... с клеймом. Это я... ик... его заклеил. Хорош, в-верно?

Храм мгновенно ожил и загудел; Стрикленду было слишком хорошо известно, что святотатца, оскорбившего божество, неизбежно постигнет кара, и он сразу же сказал: теперь добра не жди. Жрецы его знали, потому что он занимал столь важный пост, давно жил в стране и с удовольствием проводил время в обществе местных жителей, и сейчас огорчению Стрикленда не было границ. Флит расселся на полу и не желал вставать. Он убеждал нас, что Хануман – отличный старик, мягче подушки не сыскать.

Вдруг из ниши, что была за статуей божественной обезьяны, неслышно возник Серебряный Человек. Несмотря на пронизывающий холод, который стоит в эту пору, он был совершенно наг, и тело его светилось, точно серебряная филигрань, потому что он был прокаженный, вроде того библейского, про которого сказано, что рука его побелела, как снег¹. Лица у Серебряного Человека не было, его разъела ужасная язва, и весь он был покрыт струпами. Мы со Стриклендом наклонились к Флиту, пытаясь поднять его и вытащить на улицу, а храм уже плотно набился людьми, они как из-под земли выросли, и тут вдруг прокаженный поднырнул у нас под руками, издал звук, похожий на мяуканье выдры, обхватил Флита и прижал голову к его груди, – нам с трудом удалось оторвать его от нашего приятеля. Прокаженный ушел в угол и сел на пол, продолжая мяукать, а народ все валил в храм и валил.

Пока Серебряный Человек не дотронулся до Флита, жрецы клекотали от гнева. Но теперь они успокоились.

Все стихли. Наконец один из жрецов приблизился к Стрикленду и сказал на безупречном английском языке:

– Уведите вашего друга. Он причинил Хануману зло, теперь черед Ханумана.

Толпа раздалась, мы выволокли Флита на улицу.

Стрикленд был в ярости. Он сказал, что всех нас могли зарезать и что Флит должен благодарить судьбу за такой счастливый исход.

Флит никого благодарить не стал. Он заявил, что хочет спать. Он был блаженно пьян.

Мы двинулись дальше, взбешенный Стрикленд молчал, и вдруг Флита начала колотить дрожь, он весь покрылся потом. Какая ужасная вонь стоит на базаре, стал возмущаться он, почему это власти разрешают боины так близко от английского квартала.

– Неужели вы не слышите запаха крови? – спрашивал Флит.

¹ Библия, Исход, 4,6

Наконец мы уложили его в постель; уже светало, и Стрикленд предложил мне выпить виски с содовой. Мы сели в столовой со своими стаканчиками, и он заговорил о происшествии в храме, признавшись, что решительно ничего не понимает. Стрикленд не выносит, когда туземцы его мистифицируют, потому что поставил целью своей жизни взять над ними верх, пользуясь их же оружием. Пока он этой цели не достиг, но лет через пятнадцать-двадцать ему, надеюсь, удастся сделать несколько шагов по направлению к ней.

– Они бы должны разорвать нас на части, – сказал он, – а этот прокаженный просто сидел и мяукал. Не понимаю, ничего не понимаю. Не нравится мне это.

Я ответил, что, по всей вероятности, совет храма подаст на нас в суд за оскорбление религиозных чувств народа. В Уложении о наказаниях для Индийской империи есть статья, под которую как раз и подпадает проступок Флита.

– Дай-то бог, сказал Стрикленд, – будем надеяться, что все этим обойдется.

Потом я отправился домой, но сначала заглянул в комнату Флита и увидел, что он лежит на правом боку и чешет грудь с левой стороны. Спать я лег в семь утра, никак не мог согреться, на душе было тревожно, тоскливо.

В час я поехал к Стрикленду справиться, о Флите. Надо думать, голова у него раскалывается с похмелья. Флит завтракал и действительно выглядел неважно. К тому же был не в духе, сердился на повара и требовал отбивную с кровью. Человек, способный есть полу-прожаренное мясо после целой ночи обильных возлияний, – большая экзотика. Я сказал об этом Флиту, он засмеялся.

– В ваших краях водятся очень странные москиты, – заметил он. – Набросились на меня, как вурдалаки, но жалили только в грудь.

– Покажите укусы, – попросил Стрикленд. – Может быть, они за это время погасли.

Дождаясь отбивных, Флит расстегнул сорочку и показал нам на левой стороне груди, сверху, пятно из пяти или шести черных колец неправильной формы – точное воспроизведение узора на шкуре леопарда.

Стрикленд внимательно взгляделся и сказал:

– Утром были красные. А сейчас почернели.

Флит бросился к зеркалу.

– Черт, какая гадость! – воскликнул он. – Что это такое?

Мы не знали. Принесли ростбифы, сочные, едва схваченные огнем, Флит набросился на них с шокирующей жадностью и мгновенно проглотил три куска мяса. Жевал он только правой стороной челюсти, наклоняя голову к правому плечу. Покончив с ростбифами, он сообразил, что вел себя по меньшей мере странно, и стал оправдываться с виноватым видом:

– Я хотел есть, как волк, в жизни со мной такого не бывало. Готов был вилку и нож проглотить.

После завтрака Стрикленд попросил меня:

– Не уезжайте. Оставайтесь у меня и ночь тоже проведите здесь.

Я жил милях в трех от Стрикленда, если не ближе, и потому его просьба показалась мне пределом абсурда. Но Стрикленд все уговаривал меня, хотел привести какой-то важный довод, но Флит прервал его, объявив с сокрушенным видом, что не наелся. Стрикленд послал ко мне домой слугу принести постель и привести одну из лошадей, а сами мы пошли втроем в конюшню Стрикленда, собираясь провести там час-полтора, оставшиеся до верховой прогулки. Если вы питаете слабость к лошадям, то готовы до бесконечности разглядывать и обсуждать их; а когда за этим занятием убивают время два страстных любителя лошадей, чего только они ни наговорят друг другу, каких только былей и небылиц.

В конюшне стояло пять лошадей, и я в жизни не забуду, что с ними начало твориться, когда мы подошли. Они словно походили с ума. Взвизывались на дыбы, пронзительно ржали, чуть не разнесли в щепы стены денников; животные потемнели от пота и дрожали, изо рта

падала пена, в глазах был безумный страх. А ведь лошади любили Стрикленда так же преданно, как и его собаки, и потому их поведение казалось тем более непонятным. Мы вышли из конюшни, боясь, что впавшие в панику животные бросятся на нас. Но Стрикленд тут же вернулся и позвал с собой меня. Лошади еще не успокоились, однако подпустили нас к себе, дались похлопать и погладить, выслушали все ласковые слова и положили нам на плечи морды.

– Нас с вами они не боятся, – сказал Стрикленд. – Клянусь, я отдал бы жалованье за три месяца, если бы только Норовистый мог обрести человеческую речь.

Но Норовистый молчал, он только ластился к хозяину и раздувал ноздри, а это значит, что лошадь хочет что-то поведать, но не умеет рассказать. В это время Флит тоже вошел в конюшню, и едва лошади его увидели, на них снова напал ужас. Пришлось нам ретироваться, и спасибо, что мы убереглись от их копыт.

– Судя по всему, Флит, лошади не очень-то вас жалуют, – заметил Стрикленд.

– Что за чепуха, – возразил Флит, – моя кобыла ходит за мной, как собачка.

Он подошел к ней. Она стояла в отдельном деннике, но едва он отворил ворота, кобыла рванулась, сбила его с ног и унеслась в сад. Я засмеялся, а Стрикленд хоть бы улыбнулся. Он захватил усы в горсть и стал дергать обеими руками с такой силой, что чуть не вырвал. Флит и не подумал ловить свою собственность, он зевнул и объявил, что очень было бы славно сейчас вздремнуть. И действительно, пошел к себе и лег спать, – ну можно ли провести первый день Нового года более бездарно?

Мы со Стриклендом сели в конюшню, и он спросил меня, не заметил ли я в манерах Флита чего-нибудь необычного. Я сказал, что он ест, как дикий зверь, но это, возможно, объясняется тем, что он живет один, в горах, и лишен общества, столь изысканного и просвещенного, как, например, наше. Стрикленд и на это не улыбнулся. По-моему, он меня не слушал, потому что вместо ответа заговорил о пятнах на груди Флита, и я сказал, что, может быть, его искушали шпанские мушки или это родинка, она недавно появилась, а он ее только что заметил. Оба мы согласно решили, что вид у пятен отталкивающий; впрочем, Стрикленд нашел повод сообщить мне, сколь невысоко он ценит мои умственные способности.

– Я не могу сейчас открыть вам, что я думаю, – сказал он, – вы сочтете меня сумасшедшим; но прошу вас, если можете, проведите со мной ближайшие дни. Наблюдайте за Флитом, но не делитесь пока со мной своими выводами, я хочу сначала сам во всем убедиться.

– Но я сегодня приглашен в гости! – возразил я.

– Я тоже, – сказал Стрикленд, – равно как и Флит. Если он, конечно, не откажется.

Мы закурили и молча пошли гулять по саду, – ведь мы друзья, а разговоры мешают получить удовольствие от хорошего табака; но вот наши трубки погасли. Пора было будить Флита. Он уже давно проснулся и беспокойно метался по комнате.

– Знаете, я бы съел еще отбивных, – сказал он. – Повар может поджарить?

Мы засмеялись и сказали:

– Переодевайтесь. Пони сейчас подадут.

– Ладно, – согласился Флит. – Но сначала отбивные, и не забудьте – с кровью.

Судя по всему, он не шутил. Сейчас было четыре, а завтракали мы в час; и все равно он упорно требовал отбивные с кровью. Потом переоделся в костюм для верховой езды и вышел на веранду. Приготовленный для него пони – его кобылу так и не удалось поймать – даже не подпустил его к себе. Остальные три лошади обезумели от страха, в них словно бес вселился, и Флит в конце концов сказал, что останется дома и перекусит. Стрикленд и я поскакали на ипподром чрезвычайно озадаченные. Когда мы приблизились к храму Ханумана, навстречу нам вышел Серебряный Человек и замяукал.

– Он не принадлежит к числу жрецов храма, – сказал Стрикленд. – Вот кого я бы с удовольствием арестовал.

Лошади в тот день скакали словно через силу. Никакой резвости в них не было, как будто их перетренировали.

– Это они до сих пор не оправились после утреннего испуга, – заметил Стрикленд.

Больше он за всю нашу прогулку ничего не сказал. Раза два, как мне показалось, выругался, но это не в счет.

Вернулись мы около семи, уже стемнело, однако окна дома не были освещены.

– Бездельники, дармоеды! – аттестовал Стрикленд своих слуг.

На дорожке, ведущей к конюшне, что-то лежало, мой конь взвился на дыбы, и тут с земли поднялся Флит.

– В чем дело, почему вы ползаете по саду? – спросил Стрикленд.

Но обе лошади шарахнулись и чуть нас не сбросили. Мы спешили возле конюшни и вернулись к Флиту, который стоял на четвереньках под мандариновым деревом.

– Вы что, заболели? – спросил Стрикленд.

– Нет, нет, я совершенно здоров, – Флит говорил очень быстро и хрипло. – Я просто смотрел, что тут у вас в саду растет... любовался цветами. Как прекрасно пахнет земля! Пойду-ка я погуляю... куда-нибудь далеко... на всю ночь.

Тут я понял, что действительно случилось что-то очень серьезное, и сказал Стрикленду:

– Гости на сегодня отменяются.

– Вот и отлично! – отозвался Стрикленд. – Довольно, Флит, вставайте. Так недолго и лихорадку схватить. Идемте обедать, прикажем сейчас зажечь лампы. Мы все трое сегодня обедаем дома.

Флит нехотя поднялся.

– Только не надо ламп, зачем нам свет? – пробормотал он. – И вообще здесь гораздо приятнее. Давайте обедать в саду, будем есть отбивные – много отбивных, и все с кровью, почти совсем сырые, с косточкой.

Декабрьскими вечерами в Индии холод пробирает до костей, и предложение обедать на воздухе могло исходить разве что от душевнобольного.

– Идемте в дом, – сурово произнес Стрикленд. – В дом, и немедленно.

Флит поплелся в комнаты, и когда внесли лампы, мы увидели, что он весь с ног до головы облеплен толстым слоем глины. Наверное, катался в саду по земле. Он отпрянул от света лампы и ускользнул к себе в комнату. Глаза у него были страшные, они горели зеленым огнем, только этот огонь был не в глазах, а словно бы за ними, в глубине, надеюсь, вы представляете; нижняя губа Флита отвисла.

– Ночь будет тревожная, очень тревожная, – сказал Стрикленд. – Не переодевайтесь.

Мы всё ждали, когда же появится Флит, и в конце концов Стрикленд приказал подавать обед. Было слышно, как Флит ходит у себя по комнате, но лампы он не зажигал. Вдруг из его комнаты послышался протяжный волчий вой.

Мы то и дело слышим и читаем, что у кого-то там кровь застыла в жилах, волосы встали дыбом, и прочие страсти. А ведь ощущения, которые при этом испытываешь, так ужасны, что говорить это просто ради красного словца, право же, не стоит. У меня сердце остановилось, как будто в него вонзили нож, лицо Стрикленда стало белым, как скатерть.

В комнате снова завывали, и где-то далеко, в полях, раздался ответный вой.

Кто мог бы выдержать этот кошмар?

Стрикленд кинулся в комнату Флита. Я за ним, и мы увидели, что Флит вылезает из окна. Он гортанно, по-звериному урчал. Мы стали что-то кричать ему, но он нам не отвечал – не мог. Он шипел.

Что было дальше – я помню плохо, но, вероятно, Стрикленд оглушил его длинным рожком для снятия сапог, иначе мне вряд ли удалось бы сесть ему верхом на грудь. Флит

утратил дар членораздельной речи, он только рычал, и рычал не как человек, а как волк. Видимо, человек в нем весь день умирал и с наступлением темноты умер. Мы пытались одолеть зверя, который когда-то был Флитом.

Человеческий разум бессилен рационально объяснить это превращение. Я хотел сказать «гидрофобия», но не мог произнести это слово, мне не хотелось лгать.

Мы связали зверя кожаными ремнями, на которых висело опашало, стянули вместе большие пальцы рук и ног, заткнули в рот рожок для обуви – из него получается отличный кляп, нужно только знать, как его вставляют. Потом отнесли зверя в столовую и послали слугу за доктором Дюмуазом с просьбой приехать немедленно. Посыльный отправился, мы перевели дух, и тут Стрикленд сказал:

– Зря все это. Тут не врач нужен.

И он был прав, я это понимал.

Голова зверя была свободна, он мотал ею из стороны в сторону. Если бы кто-нибудь заглянул в столовую, то решил бы, что мы выделяем волчью шкуру. Запах – вот что было омерзительнее всего.

Стрикленд сидел, уткнув подбородок в кулак, внимательно глядел на зверя, который извивался на полу, и не произносил ни слова. Когда мы с ним боролись, сорочка порвалась, и на обнажившейся груди слева чернели леопардовые пятна. Они даже вздулись, как волдыри.

И вот в тишине нашей вахты мы вдруг услышали в саду крик, похожий на мяуканье выдры. Мы вскочили, и не знаю, как Стрикленд, но лично я почувствовал, что мне дурно, – клянусь, я не ради красного словца говорю, казалось, я вот-вот потеряю сознание. «Это кошка», – сказали мы друг другу, точно герои «Броненосца „Малютка“²».

Приехал Дюмуаз, и, должен признаться, я в жизни своей не видел, чтобы привыкший ко всяким экзотическим болезням врач до такой степени растерялся. Он сказал, что это тяжелейший случай гидрофобии и что помочь больному невозможно. Все паллиативные средства лишь будут длить агонию. У зверя из пасти текла пена. Мы сказали Дюмуазу, что Флита несколько раз кусали собаки. Человек, который держит свору терьеров, должен быть готов к тому, что его в любую минуту тяпнут. Дюмуаз был бессилен что-то сделать. Он мог только удостовериться, что Флит умирает от гидрофобии. Зверь начал выть – он умудрился вытолкнуть изо рта рожок. Дюмуаз сказал, что готов указать в свидетельстве о смерти ее причину и что конец неотвратим. Этот на редкость славный человек изъявил желание остаться с нами, но Стрикленд отклонил его любезное предложение. Зачем же портить Дюмуазу Новый год? Он только попросил доктора не разглашать истинную причину смерти Флита.

Дюмуаз уехал в величайшем волнении; и когда шум колес его двуколки стих вдали, Стрикленд шепотом рассказал мне, что, по его мнению, произошло. Это было до такой степени чудовищно и невероятно, что он едва осмелился высказать свои подозрения; я и сам был убежден, что дело обстоит именно так, а не иначе, но мне было стыдно в этом признаться, и я для вида стал возражать.

– Предположим, Серебряный Человек покарал Флита за то, что он осквернил изображение Ханумана, но ведь действие злых чар не могло проявиться так быстро.

Не успел я это прошептать, как возле дома снова раздался крик, и лежащий на полу зверь начал отчаянно корчиться, пытаясь освободиться, – мы испугались, что кожаные ремни лопнут.

– Не спускайте с него глаз! – велел мне Стрикленд. – Если это будет повторяться, после шестого раза я сам с ним расправлюсь. А вы мне помогите, я вам приказываю.

Он ушел к себе в комнату и через несколько минут вернулся, с собой он принес стволы от старого дробовика, кусок лески, толстую веревку и приволок свою массивную деревян-

² «“Малютка”, броненосец флота Ее Величества» – оперетта, созданная в 1878 г. У.С. Гилбертом и А. Салливаном.

ную кровать без постели. Я сообщил ему, что конвульсии начинаются через две секунды после того, как раздастся крик, и что зверь заметно ослабел.

– Неужели он хочет лишить его жизни? – пробормотал Стрикленд. – Этого нельзя допустить!

Я возразил, сам не веря тому, что говорю:

– А может быть, это кошка. Наверняка кошка. Если во всем виноват тот, Серебряный, разве он осмелится прийти сюда?

Стрикленд подбросил в камин дров, всунул в огонь концы стволов, разложил на столе во всю длину веревку, переломил пополам одну из своих тростей. Был еще примерно ярд лески, плотно перевитой с проволокой, – такой ловят усачей, – и он связал ее концы, так что получилась петля. Потом сказал:

– Как же нам его поймать? Надо взять живым и невредимым.

Я ответил, что надо довериться Провидению и, вооружившись клюшками для игры в поло, незаметно спрятаться в кустах против парадного входа. Кто бы ни издавал эти звуки – человек или животное, он все равно безостановочно ходит вокруг дома, будто ночной сторож. Мы дождемся в кустах, когда он покажется, и схватим его.

Стрикленд согласился с моим планом, и мы неслышно вылезли из окна ванной, прокрались по веранде к парадному крыльцу, быстро пробежали по мощеной дорожке к кустам и затаились в них.

Вот из-за угла дома показался прокаженный, мы ясно видели его в свете луны. Он был совершенно наг, время от времени мяукал и принимался плясать, с ним вместе плясала и его тень. Зрелище было омерзительное, и когда я подумал, что столь гнусное создание довело беднягу Флита до такой позорной деградации, я отбросил прочь все сомнения и решил помогать Стрикленду во всем: пусть он его подвергнет любым пыткам, пусть жжет раскаленными стволами, пусть душит веревкой – я с ним до конца.

На веранде у парадного крыльца прокаженный на миг остановился, и мы ринулись на него с клюшками. Поразительно, до чего он оказался силен, – мы боялись, что он удерет или же мы его в схватке смертельно раним. Нам почему-то представлялось, что на прокаженного дунь – и он упадет, однако ничего подобного. Стрикленд сбил-таки его с ног, и я придавил его шею сапогом. Он отвратительно мяукал, а я – я даже сквозь подошву сапога чувствовал, что его тело – разлагающаяся заживо плоть прокаженного.

Серебряный Человек молотил нас культиями рук и ног, лягался. Мы обхватили его ремнем аrapника под мышками и потащили в прихожую, а из прихожей в столовую, где лежал зверь. Здесь мы связали его чемоданными ремнями. Он не пытался бежать, лишь мяукал.

Что начало твориться со зверем, когда прокаженный оказался рядом! Он выгнулся дугой назад, будто его отравили стрихнином, душераздирающе застонал. Об остальном я рассказывать не стану, это не поддается описанию.

– Кажется, я был прав, – сказал Стрикленд. – А теперь мы попросим его вылечить больного.

Но прокаженный лишь мяукал. Стрикленд сложил в несколько раз полотенце и вынул им из огня ружейные стволы. Я продел половину переломленной трости в петлю из лески и надежно прикрутил прокаженного к кровати Стрикленда. В ту ночь я понял, почему не только мужчины, но даже женщины и дети заворуженно смотрят, как у них на глазах жгут заживо колдунов и ведьм; зверь на полу хрипло стонал, и хотя у Серебряного Человека не было лица, по изъязвленному месиву, в которое оно обратилось, волнами прокатывались ненависть, гнев, ужас, как волны жара прокатываются по раскаленному докрасна железу, – например, по ружейному стволу.

Стрикленд закрыл лицо руками, постоял так с минуту, и мы приступили к делу. Дальнейшее я опускаю.

Когда прокаженный заговорил, уже светало. До сих пор он все мяукал и мяукал. Зверь обессилел до того, что не подавал признаков жизни, в доме стояла мертвая тишина. Мы отвязали прокаженного и велели ему снять чары. Он подполз к зверю и положил руку ему на грудь, слева. Только и всего. Потом уткнулся лицом в пол и заскулил, судорожно всхлипывая.

Мы глядели на морду зверя – на наших глазах она превращалась в человеческое лицо, в лицо Флита. На лбу выступил пот, и глаза – вполне человеческие глаза – закрылись. Прошло около часу, Флит все спал. Мы перенесли его к нему в спальню и отпустили прокаженного, отдав ему лежавшую на кровати простыню, чтобы он прикрыл наготу, перчатки и полотенца, которыми мы к нему прикасались, арапник, которым тащили его в столовую. Он завернулся в простыню и вышел в серые предутренние сумерки, не произнеся ни единого слова, ни разу не мяукнув.

Стрикленд отер лицо платком и сел. Далеко в городе слышались удары в гонг – семь часов утра.

– Ровно сутки! – воскликнул Стрикленд. – За то, что я сделал, меня следует уволить со службы и поместить на всю оставшуюся жизнь в сумасшедший дом. Может быть, нам все это приснилось, как по-вашему?

Раскаленный докрасна ствол дробовика упал на пол, ковер под ним начал тлеть. Дым был вполне настоящий.

В одиннадцать утра мы со Стриклендом пошли будить Флита. Осмотрели его грудь и не нашли никаких следов черных леопардовых пятен. Его было невозможно растолкать, – едва откроет глаза и тут же снова провалится в сон, но наконец он нас увидел и воскликнул:

– А, это вы, черт вас подери! С Новым годом, господа. Никогда не мешайте выпивку. Башка чугунная.

– Спасибо за поздравление, но оно несколько запоздало, – ответил Стрикленд. – Нынче у нас второе. Вы проспали больше суток.

Открылась дверь, в комнату просунул голову Дюмуаз. Он пришел пешком и думал, что мы обряжаем Флита, готовясь положить на стол.

– Я привел медицинскую сестру, – сказал Дюмуаз. – Надеюсь, она поможет... сделает все необходимое...

– Превосходно! – весело воскликнул Флит, садясь в постели. – Где ваши сестры, зовите их.

У Дюмуаза словно язык отнялся. Стрикленд увел его из комнаты и объяснил, что, вероятно, диагноз был поставлен неправильно. Дюмуаз тотчас же ушел, так и не обретя дара речи. Он счел, что его профессиональному достоинству нанесено оскорбление, и решил во что бы то ни стало восстановить свою честь. Стрикленд тоже ушел из дому. Когда вернулся, то рассказал, что был в храме Ханумана, выразил жрецам глубочайшее сожаление за то, что над их богом было совершено надругательство, и хотел возместить ущерб, но жрецы дали ему торжественную клятву, что ни один белый человек не прикасается к статуе божественной обезьяны, а сам Стрикленд – воплощение всех совершенств, однако же оказался жертвой заблуждения.

– Ну, и что вы на это скажете? – спросил Стрикленд.

Я сказал:

– «Есть многое на свете, друг Горацио...»

Но Стрикленд слышать не может эту цитату. Говорит, я затвердил ее, как попугай, уши вянут.

Произошел еще один эпизод, он испугал меня, пожалуй, больше всех остальных событий минувшей ночи. Флит оделся, вышел в столовую и стал принохиваться. Он очень забавно раздувает ноздри, когда нюхает.

– Ужасно пахнет псиной, – объявил он. – По-моему, Стрик, вы запустили своих терьеров. Говорят, сера хорошо помогает.

Но Стрикленд ничего на это не ответил. Он вцепился в спинку стула и дико, истерически захохотал. Очень страшно, когда на твоих глазах суровый мужчина с железной волей не может побороть истерику. Потом я вдруг понял, что именно здесь, в этой комнате, мы боролись с Серебряным Человеком за душу Флита и что мы, англичане, навеки опозорили себя; тут на меня тоже напал неудержимый хохот, я задышался и всхлипывал так же непристойно, как Стрикленд, а Флит стоял и думал, что мы сошли с ума. Мы так никогда ему ничего и не рассказали.

Через несколько лет, когда Стрикленд женился и стал примерным членом общества, который исправно посещает церковь – в угоду своей супруге, – мы однажды беспристрастно разобрали весь эпизод по косточкам, и Стрикленд предложил мне вынести его на суд публики.

Не думаю, чтоб это помогло развеять тайну; во-первых, никто не поверит, что эта весьма неприятная история случилась на самом деле, а во-вторых, любой здравомыслящий человек знает, что языческие боги – всего лишь каменные или медные истуканы и те, кто пытается увидеть в них нечто большее, заслуживают самого беспощадного осуждения.

Агасфер

Если вы объедете вокруг света в восточном направлении, вы выиграете один день, – говорили Джон Хэю люди науки. В последующие годы Джон Хэй ездил на восток, на запад, на север, на юг, делал дела, влюблялся и создавал семью, подобно многим людям, и вышеупомянутое научное сведение лежало забытым в глубинах его сознания вместе с тысячами других, столь же важных.

Когда один его богатый родственник умер, он оказался гораздо более состоятельным, чем мог ожидать этого от своей прежней деятельности, которая была разнородной и дурной. Однако еще задолго до того, как досталось ему это наследство, в мозгу Джона Хэя завелась маленькая тучка – мгновенное затемнение сознания, которое наступало и прекращалось, пожалуй, раньше даже, чем он сам замечал нарушение непрерывности мыслей. Так летучие мыши начинают порхать вокруг карнизов дома, предвещая наступление темноты. Он вступил во владение огромным состоянием, заключавшемся в деньгах, землях и домах, но за его радостью стоял призрак, кричавший, что не долго он будет наслаждаться этими вещами. Это был призрак богатого родственника, которому позволили сойти на землю, чтобы вогнуть в гроб племянника. И вот под острием этого постоянного напоминания Джон Хэй, продолжая носить маску тяжеловатой, деловитой тупости, скрывавшей тень на его душе, обратил ценные бумаги, дома, земли в соверены – полновесные, круглые, червонные английские соверены стоимостью в двадцать шиллингов каждый. Земли могут упасть в цене, а дома взлететь к небу на крыльях алого пламени, по соверен до самого Судного дня останется совереном, то есть владыкой наслаждений.

Обладая этими соверенами, Джон Хэй охотно истратил бы их один за другим на грубые удовольствия, которые нравились его душе; но его преследовал неотвязный страх смерти; ибо призрак родственника стоял в прихожей его дома, рядом с вешалкой для шляп, и кричал у лестницы вверх, что жизнь коротка, что нет надежды умножить дни и что гробовщики уже обтесывают гроб для его племянника. Джон Хэй обычно сидел один в своем доме, а если у него и собиралась компания, то ведь приятели его не могли слышать крикливого дядюшку. Тень в мозгу его ширилась и чернела. Страх смерти сводил Джона Хэя с ума.

И вот из глубин его сознания, куда он прятал все ненужные сведения, вылез на поверхность научный факт о путешествии на восток. Когда дядя в следующий раз стал кричать ему вверх по лестнице, убеждая его торопиться и жить, некий еще более пронзительный голос крикнул:

– Кто один раз объедет вокруг света в восточном направлении, выиграет один день.

Растущая мнительность и недоверие к человечеству помешали Джон Хэю сообщить эту драгоценную весть надежды приятелям. Они, пожалуй, способны были заинтересоваться ею и проанализировать ее. Он был убежден в ее истинности, но мысль о том, что грубые руки будут ощупывать ее слишком бесцеремонно, причиняла ему острую боль. Он один из всех труждающихся человеческих поколений удостоился познать тайну бессмертия. Было бы нечестием, противным всем намерениям творца, заставить все человечество броситься на восток. Кроме того, пароходы оказались бы тогда переполненными, что лишает путешествие удобств, а Джон Хэй превыше всего стремился к одиночеству. Если ему удастся объехать вокруг света в два месяца, – он читал, что какой-то человек, имя которого он не мог вспомнить, покрыл все расстояние в восемьдесят дней, – то он выиграет целые сутки, а если будет упорно продолжать это в течение тридцати лет, то выиграет сто восемьдесят дней, то есть почти полгода. Это не много, но с течением времени, когда цивилизация сделает шаг вперед и железная дорога пройдет по долине Евфрата, он сможет увеличить скорость.

Вооруженный многими совершенами, Джон Хэй на тридцать пятом году от рождения пустился в путь, и два голоса сопутствовали ему от самого Дувра, когда он плыл в Кале. Судьба ему благоприятствовала. Железная дорога Евфратской долины только что начала действовать, и он был первым человеком, взявшим билет прямого сообщения от Кале до Калькутты – тринадцать дней в поезде. Тринадцать дней в поезде плохо отзываются на нервах, но он вернулся в Кале через Америку, объехав мир в два месяца и двенадцать дней, и начал сызнова, выиграв двадцать четыре часа драгоценного времени. Три года прошло, а Джон Хэй упорно ездил вокруг земли в поисках лишнего времени, чтобы в течение его насладиться остатками своих совершенов. Его признали на многих линиях как человека, который стремится беспрерывно ездить. Когда люди спрашивали его, кто он такой и что делает, он отвечал:

– Я человек, решивший жить вечно, и я пытаюсь добиться этого.

Дни его были заняты тем, что он смотрел либо на белый след, тянувшийся за кормой самых быстроходных пароходов, либо на темную землю, летевшую за окнами самых скорых поездов, и он отмечал в своей записной книжке каждую минуту, исторгнутую им у безжалостной вечности.

– Это лучше, чем молиться о долгой жизни, – произнес Джон Хэй, обратив лицо к востоку и приступая к своему двадцатому путешествию. Годы сделали для него больше, чем он смел ожидать. Удлинение железнодорожной линии по долине Брампутры, соединившейся теперь с недавно построенной магистралью по Среднему Китаю, привело к тому, что по билету, взятому в Кале, можно было через Карачи и Калькутту проехать до Гонконга. Теперь кругосветное путешествие можно было совершить в сорок семь дней с небольшим, и тут, охваченный роковым ликованием, Джон Хэй поведал тайну своего долголетия единственному своему другу – женщине, сторожившей его квартиру в Лондоне. Он высказался и уехал, но домоправительница была предприимчива и немедленно посоветовалась с юристами, впервые сообщившими Джону Хэю о его золотом наследстве. У него оставалось еще очень много совершенов, и другой Хэй жаждал истратить их на что-нибудь более дельное, чем железнодорожные билеты и пароходные каюты.

Погоня была очень долгой, ибо, когда человек путешествует буквально ради сохранения милой жизни, он не задерживается на дороге. Хэй снова обежал вокруг света и в Мадрасе нагнал посланного за ним в погоню истомленного доктора. Здесь он обрел награду за свои труды и уверенность в желанном бессмертии. В течение получаса доктор, не отрывавший глаз от его запекшихся губ, дрожащих рук и вечно устремленного на восток взора, убедил Джона Хэя отдохнуть в маленьком домике, стоявшем у самого мадрасского взморья. Все, что требуется Хэю, это – висеть на веревках, прикрепленных к потолку комнаты, и позволять круглой земле свободно вертеться под ним. Это лучше, чем пароход или поезд, ибо так он выиграет день на день, уподобляясь тем самым неумирающему солнцу. Другой Хэй обязался оплачивать его расходы в течение вечности.

Мы, правда, все еще не можем брать билетов от Кале до Гонконга, хотя через пятнадцать лет это будет возможно, но говорят, что, если вы отправитесь бродить вдоль южного берега Индии, вы найдете в чисто выбеленном маленьком бангала на кресле, подвешенном к потолку, над тонким листом стали, – которая, как известно, так хорошо уничтожает земное притяжение, – старого дряхлого человека, чье лицо всегда обращено на восход солнца; с секундомером в руке он бежит наперегонки с вечностью. Он не может пить, он не курит, и расходы на его содержание вряд ли превышают двадцать пять рупий в месяц, но он Бессмертный Джон Хэй. Он слышит, как снаружи грохочет вращающийся мир, с которым, как он спешит объяснить, у него уже нет никаких сношений.

Но если вы скажете, что это только шум прибоя, он горько заплачет, ибо тень в мозгу его исчезает, когда мозг прерывает свою работу, и он иногда сомневается в том, что доктор

говорил правду. Почему солнце не остается всегда у меня над головой? – спрашивает Джон Хэй.

«Ворота Ста Печалей»

*Что вам завидовать мне,
если я могу достичь небес
ценою одной пайсы³?*

Поговорка курильщиков опиума

Это не мое сочинение. Мой приятель метис Габрал Мискитта рассказал мне обо всем этом в часы между закатом луны и утром, за шесть недель до своей смерти, а я только записывал его ответы на мои вопросы.

Итак...

Они находятся между улицей медников и кварталом торговцев трубочными чубуками, ярдах в ста по прямой от мечети Вазир-Хана⁴. Я готов кому угодно сообщить эти сведения, но ручаюсь – ни один человек не найдет «Ворот», даже если он уверен, что отлично знает город. Можете хоть сто раз пройти по тому переулку, где они находятся, все равно вы их не найдете. Этот переулок мы прозвали улицей Черного Курева, но настоящее его название, конечно, совершенно иное. Навьюченный осел не смог бы пролезть между его стенами, а в одном месте, как раз перед тем, как поравняешься с «Воротами», один из домов выступает вперед, вынуждая прохожих протискиваться боком.

На самом деле это вовсе не ворота. Это дом. Пять лет назад им владел старик Фун Чин – первый его хозяин. Он раньше был сапожником в Калькутте. Говорят, что там он спьяну убил свою жену. Вот почему он бросил пить базарный ром и взамен его пристрастился к черному куреву. Впоследствии он переселился на север и открыл «Ворота», иначе говоря – заведение, где можно покурить в тишине и спокойствии. Имейте в виду, эта курильня опиума была пакка – солидное заведение, не то что какая-нибудь жаркая, душная чандукхана из тех, что попадаются в городе на каждом шагу. Нет, старик отлично знал свое дело и для китайца был очень опрятен.

Это был маленький одноглазый человек, не более пяти футов росту, и на обеих руках у него не хватало средних пальцев. И все же он, как никто, умел скатывать черные пилюли. Казалось также, что курево ничуть на него не действует, хотя он курил днем и ночью, ночью и днем, невероятно много. Я занимался этим пять лет и с кем угодно могу потягаться в курении, но в сравнении с Фун Чином я был просто младенцем. Тем не менее старик очень любил деньги, очень, и вот этого я и не могу понять. Я слышал, что при жизни он успел накопить порядочное состояние; оно теперь досталось его племяннику, а старик вернулся в Китай, чтобы его похоронили там.

Большую комнату наверху, где собирались его лучшие клиенты, он держал чистенькой, как новая булавка. В одном углу стоял Фунчинов идол – почти такой же безобразный, как и сам Фун Чин, – и под носом у него всегда тлели курительные свечки, но когда трубочный дым густел, запаха их не было слышно. Против идола стоял гроб Фун Чина. Хозяин потратил на него добрую часть своих сбережений, и когда в «Воротах» впервые появлялся свежий человек, ему всегда показывали гроб. Он был покрыт черным лаком и расписан красными и золотыми письменами, и я слышал, будто Фун Чин вывез его из самого Китая. Не знаю, правда это или нет, но помню, что, когда я под вечер приходил первым, я всегда расстилал свою циновку около него. Здесь, видите ли, был спокойный уголок, и в окно иногда веяло

³ Пайса – мелкая монета в Британской Индии.

⁴ Мечеть Вазир-Хана – один из известнейших архитектурных памятников Лахора (XVII век).

легким ветерком с переулка. Если не считать циновок, в комнате не было никакой обстановки – только гроб да старый идол, весь синий, зеленый и пурпурный от времени и полировки.

Фун Чин никогда нам не говорил, почему он назвал свое заведение «Воротами Ста Печалей». (Он был единственный знакомый мне китаец, употреблявший неприятно звучащие названия. Большинство склонно давать цветистые имена, в чем вы можете убедиться по Калькутте.) Мы старались догадаться об этом сами. Если вы белый, ничто не сможет вас так захватить, как черное курево. Желтый человек устроен иначе. Опиум на него почти не действует, а вот белые и черные – те страдают жестоко. Конечно, есть и такие, на которых курево влияет не больше, чем табак, когда они впервые начали курить. Они только подремлют немножко, как бы заснув естественным сном, а наутро уже почти способны работать. И я был таким, когда начал, но я занимался этим весьма усердно целых пять лет, а теперь я уже не тот. Была у меня старуха-тетка, которая жила близ Агры⁵, и после ее смерти мне досталось небольшое наследство. Около шестидесяти рупий дохода в месяц. Шестидесят рупий – это не очень много. Вспоминается мне время – кажется, что с тех пор прошло много-много сотен лет, – время, когда я получал триста рупий в месяц да еще кое-какие доходы, работая по крупной поставке строевого леса в Калькутте.

На этой работе я пробыл недолго. Черное курево не допускает других занятий, и хотя на меня оно влияет очень слабо, я даже ради спасения своей жизни не смог бы проработать целый день, как работают другие люди. Впрочем, шестидесят рупий – это все, что мне требуется. Пока старик Фун Чин был жив, он обычно получал эти деньги вместо меня, давал мне из них половину на жизнь (я ем очень мало), а остальное забирал себе. Я мог свободно приходить в «Ворота» в любое время дня и ночи, курить там и спать, если хотел, и потому не спорил. Я знал, что старик хорошо на мне заработал, но это не имеет значения. Ничто не имеет для меня большого значения; к тому же деньги продолжают поступать из месяца в месяц.

Когда заведение впервые открылось, в «Воротах» нас встречалось всего десять человек. Я, двое бабу – они тогда служили в государственном учреждении где-то в Анаркали⁶, но потом их уволили, и они уже не могли платить за себя (ни один человек, обязанный работать днем, не может регулярно предаваться черному куреву в течение долгого времени); китаец – племянник Фун Чина; уличная женщина, каким-то образом добывшая кучу денег; бездельник англичанин – кажется, фамилия его начиналась на «Мак», Впрочем, не помню, – который курил без передышки и как будто ничего не платил (говорили, что в бытность свою адвокатом в Калькутте он на каком-то судебном разбирательстве спас жизнь Фун Чину); другой евразиец, как и я, родом из Мадраса; женщина-метиска и двое мужчин, говоривших, что они переехали сюда с севера. Должно быть, это были персы, или афганцы, или что-то в этом роде. Теперь из всех нас осталось в живых не более пяти человек, но зато приходим мы постоянно. Не знаю, что случилось с обоими бабами, а уличная женщина умерла после того, как полгода посещала «Ворота», и я подозреваю, что Фун Чин присвоил ее браслеты и носовое кольцо. Но не уверен. Англичанин – тот пил так же много, как и курил, и наконец перестал приходить. Одного из персов давно уже убили в драке ночью у большого колодца близ мечети, и полиция закрыла колодец – говорили, что оттуда несет гнилью. Его нашли мертвым на дне колодца. Так вот, значит, остались только я, китаец, метиска, которую мы прозвали мем-сахиб (она жила с Фун Чином), другой евразиец да один из персов. Теперь мем-сахиб очень постарела. Когда «Ворота» впервые открылись, она была молодой женщиной, но уж коли на то пошло, все мы давно состарились. Нам много-много сотен лет. В «Воротах» очень трудно

⁵ Агра – древний город в северо-западных провинциях Индии; знаменит памятниками мусульманской архитектуры и прежде всего мавзолеем Тадж-Махал.

⁶ Анаркали – предместье Лахора.

вести счет времени, к тому же для меня время не имеет значения. Каждый месяц я все так же получаю свои шестьдесят рупий. Давным-давно, когда я зарабатывал триста пятьдесят рупий в месяц, да вдобавок еще кое-что на крупной поставке строевого леса в Калькутте, у меня было что-то вроде жены. Теперь ее нет в живых. Люди говорили, что я свел ее в могилу тем, что пристрастился к черному куреву. Может, и правда, свел, но это было так давно, что уже потеряло всякое значение. Когда я впервые начал ходить в «Ворота», мне иной раз бывало жаль ее, но все это прошло и кончилось уже давно, а я каждый месяц все получаю и получаю свои шестьдесят рупий и вполне счастлив. Счастлив не так, как бывают счастливы пьяные, а всегда спокоен, умиротворен и доволен.

Как я к этому пристрастился? Это началось в Калькутте. Я пробовал покуривать у себя дома – просто хотелось узнать, что это такое. Я еще не очень этим увлекался, но, должно быть, жена моя умерла именно тогда. Так или иначе, но я очутился здесь и познакомился с Фун Чином. Не помню точно, как все это было, но он мне рассказал про «Ворота», и я стал туда ходить, и как-то так вышло, что с тех пор я уже не покидал их. Не забудьте, что в Фунчиновы времена «Ворота» были очень солидным заведением, где вам предоставлялись все удобства, – не чета какой-нибудь там чандукхане, куда ходят черномазые. Нет, здесь было чисто, спокойно и нелюдно. Конечно, кроме нас десятерых и хозяина бывали и другие посетители, но каждому из нас всегда давалось по циновке и по ватной подушечке в шерстяной наволочке, сплошь покрытой черными и красными драконами и всякими штуками, точь-в-точь как на гробе, стоявшем в углу.

После третьей трубки драконы начинали двигаться и драться. Я смотрел на них много-много ночей напролет. Так я определял меру своему курению, но теперь уже требуется не меньше дюжины трубок, чтобы принудить их зашевелиться. Кроме того, все они истрепались и загрязнились не хуже циновок, а старик Фун Чин умер. Он умер года два назад, подавив мне трубку, которую я теперь всегда курю, – серебряную, с причудливыми зверями, ползущими вверх и вниз по головке под чашечкой. До этого у меня, помнится, был длинный бамбуковый чубук с медной чашечкой, очень маленькой, и мундштуком из зеленой яшмы. Он был чуть потолще тросточки для гулянья, и курить из него было приятно, очень приятно. Очевидно, бамбук всасывал дым. Серебро не всасывает, так что мне время от времени приходится чистить трубку, а с этим много возни, но я курю ее в память о старике. Он, должно быть, хорошо на мне нажился, но он всегда давал мне чистые подушки и циновки и товар, лучше которого нигде не достанешь.

Когда он умер, племянник его Цин Лин вступил во владение «Воротами» и назвал их «Храмом Трех Обладаний», по мы, завсегдатаи, по-прежнему называем их «Воротами Ста Печалей». Племянник очень прижимисто ведет дело, и мне кажется, что мем-сахиб поощряет его в этом. Она с ним живет, как прежде жила со стариком. Оба впускают в заведение всякий сброд – черномазых и тому подобных типов, и черное курево уже не такого хорошего качества, как бывало. Я не раз и не два находил в своей трубке жженные отруби. Старик – тот умер бы, случись это в его времена. И еще: комнату никогда не убирают, все циновки рваные и обтрепались по краям. Гроба нет, он вернулся в Китай со стариком и двумя унциями курева внутри – на случай, если мертвецу захотелось бы покурить в дороге.

Под носом у идола уже не горит столько курительных свечек, как бывало, а это, бесспорно, недобрый знак. Да и сам идол весь потемнел, и никто за ним больше не ухаживает. Я знаю, всему виной – мем-сахиб: ведь когда Цин Лин захотел было сжечь перед ним золотую бумагу, она сказала, что это пустая трата денег, и еще – что курительные свечи должны только чуть теплиться, так как идол все равно не заметит разницы. И вот теперь в свечи подмешивают много клея, так что они горят на полчаса дольше, но зато скверно пахнут. Я уже не говорю о том, как воняет сама комната. Никакое дело не пойдет, если вести его таким образом. Идолу это не нравится. Я это вижу. Иногда поздно ночью он вдруг начинает отли-

вать какими-то странными оттенками цветов – синим, и зеленым, и красным, совсем как в те времена, когда старик Фун Чин был жив; и он вращает глазами и топает ногами, как демон.

Не знаю, почему я не бросаю это заведение и не курю спокойно в своей собственной комнатухе на базаре. Скорей всего потому, что, уйди я, Цин Лин убил бы меня – ведь теперь мои шестьдесят рупий получает он, – да и хлопот не оберешься, а я мало-помалу очень привязался к «Воротам». Ничего в них нет особенного. Они уже не такие, какими были при старике, покинуть их я бы не смог. Я видел столько людей, приходивших сюда и уходивших. И я видел столько людей, умиравших здесь, на циновках, что теперь мне было бы жутко умереть на свежем воздухе. Я видел такие вещи, которые людям показались бы довольно странными, но если уж ты привержен черному куреву, тебе ничто не кажется странным за исключением самого черного курева. А если и кажется, так это не имеет значения. Фун Чин – тот был очень разборчив: никогда не впускал клиентов, способных перед смертью надевать неприятностей. Но племянник далеко не так осторожен. Он повсюду болтает, что держит «первоклассное заведение». Никогда не старается тихонько впускать людей и устраивать их удобно, как это делал Фун Чин. Вот почему «Ворота» получили несколько большую известность, чем прежде. Само собой разумеется – среди черномазых. Племянник не смеет впустить белого или хотя бы человека смешанной крови. Конечно, ему приходится держать нас троих: меня, мем-сахиб и другого евразийца. Мы тут укоренились. Но он не дает нам в долг и одной трубки ни за что на свете.

Я надеюсь когда-нибудь умереть в «Ворогах». Перс и мадрасец теперь здорово сдали. Трубки им зажигает мальчик. Я же всегда это делаю сам. Вероятно, я увижу, как их унесут раньше, чем меня. Вряд ли я переживу мем-сахиб или Цин Лина. Женщины дольше мужчин выдерживают черное курево, а Цин Лин – тот хоть и курил дешевый товар, но он стариковой крови. Уличная женщина за два дня до своего смертного часа знала, что умирает, и она умерла на чистой циновке с туго набитой подушкой, а старик повесил ее трубку над самым идолом. Мне кажется, он всегда был привязан к ней. Однако браслеты ее он забрал.

Мне хотелось бы умереть, как эта базарная женщина, – на чистой, прохладной циновке, с трубкой хорошего курева в зубах. Когда я почувствую, что умираю, я попрошу Цин Лина дать мне то и другое, а он пусть себе все продолжает получать мои шестьдесят рупий в месяц. И тогда я буду лежать спокойно и удобно и смотреть, как черные и красные драконы бьются в последней великой битве, а потом...

Впрочем, это не имеет значения. Ничто не имеет для меня большого значения... Хотелось бы только, чтобы Цин Лин не подмешивал отрубей к черному куреву.

Через огонь

Полицейский пробирался верхом по Гималайским лесам, под обомшелыми дубами, а за ним трусил его вестовой.

– Скверное дело, Бхир Сингх, – сказал полицейский. – Где они?

– Очень скверное дело, – откликнулся Бхир Сингх. – Теперь они, конечно, жарятся на огне, но огонь тот пожарче, чем пламя костра из веток хвойного дерева.

– Будем надеяться, что нет, – сказал полицейский, – ведь если позабыть о различиях между расами, это история Франчески да Римини⁷, Бхир Сингх.

Бхир Сингх ничего не знал о Франческе да Римини, поэтому он хранил молчание, пока они не добрались до вырубки угольщиков, где умирающее пламя шептало «уит... уит... уит», шурша и порхая над белым пеплом. Когда этот костер разгорелся, он, наверное, пылал очень ярко. В Донга-Па, на противоположном склоне долины, люди видели, как огонь трепетал и пылал в ночи, и говорили между собой, что угольщики из Кодру, должно быть, перепились.

Но то были только Сакат Сингх – сипай сто второго пенджабского туземного пехотного полка, и Атхира – женщина, и они горели... горели... горели...

Вот как все это случилось; донесение полицейского подтвердит мои слова.

Атхира была женой Маду – угольщика, одноглазого и злого. Через неделю после свадьбы он отколотил Атхиру толстой палкой. Месяц спустя сипай Сакат Сингх, отпущенный из полка на побывку, проходил по этим местам, направляясь в прохладные горы, и волновал обитателей Кодру рассказами о военной службе и славе и о том, в какой чести он у полковника сахиба-бахадра.

И Дездемона, как Дездемоны всего мира, слушала Отелло, и, слушая, она любила.

– У меня уже есть жена, – говорил Сакат Сингх, – но если хорошенько подумать, это неважно. Кроме того, я скоро должен вернуться в полк; нельзя же мне стать дезертиром – ведь я хочу дослужиться до хавалдара⁸.

Двустиишие:

Когда б я чести не любил,
Я меньше бы любил тебя...⁹ —

не имеет версии, созданной на Гималаях, но Сакат Сингх был близок к тому, чтобы ее сочинить.

– Ничего, – говорила Атхира, – оставайся со мной, а если Маду примется меня бить, отколоти его.

– Ладно, – согласился Сакат Сингх и, к восторгу всех угольщиков в Кодру, жестоко избил Маду.

– Хватит, – проговорил Сакат Сингх, спихнув Маду под откос. – Теперь мы будем спокойны.

⁷ *Франческа да Римини* – дочь Гвидо да Полента, сеньора Равенны, была выдана замуж за хромого и уродливого Джованни Малатеста, сеньора Римини. Она любила его младшего брата Паоло. Любовь их была открыта, и Джованни убил влюбленных. Это произошло около 1286 г. Трагическая история Франчески да Римини рассказана Данте в V песне его «Ада».

⁸ *Хавалдар* – в индийских частях британской армии унтер-офицер.

⁹ *Когда б я чести не любил...* – цитата из стихотворения английского поэта Ричарда Лавлейса (1618–1658) «К Лукасте, уходя на войну».

Но Маду вскарабкался наверх по травянистому склону и с гневом в глазах бродил вокруг своей избушки.

– Он забьет меня до смерти, – говорила Атхира Сакату Сингху. – Увези меня.

– В казармах будет переполох. Жена вырвет мне бороду, но ничего, – отвечал Сакат Сингх. – Я тебя увезу.

В казармах был шумный переполох, Сакату Сингху рвали бороду, и жена Саката Сингха ушла жить к своей матери, забрав с собой детей.

– Это хорошо, – сказала Атхира, и Сакат Сингх согласился:

– Да, это хорошо.

Итак, Маду остался в избушке, из которой была видна вся долина вплоть до Донга-Па, и жил один, но ведь никто спокон веку не сочувствовал таким незадачливым мужьям, как он.

Маду пошел к Джасин-Дадзе, колдуну, хранившему Голову Говорящей Обезьяны.

– Верни мне мою жену, – сказал Маду.

– Не смогу, – отозвался Джасин-Дадзе, – пока ты не заставишь Сатледж течь вверх, к Донга-Па.

– Говори дело, – приказал Маду и взмахнул топором над белой головой Джасин-Дадзе.

– Отдай все свои деньги деревенским старейшинам, – молвил Джасин-Дадзе, – и они созовут совет общины, а совет прикажет твоей жене вернуться.

Итак, Маду отдал все свое состояние, заключавшееся в двадцати семи рупиях, восьми анах, трех пайсах и серебряной цепочке, общинному совету Кодру. А затем предсказания Джасин-Дадзе оправдались.

Брата Атхиры послали в полк Саката Сингха, чтобы призвать Атхиру домой. Сакат Сингх пинками заставил его разок пробежаться вокруг казармы, потом передал хавалдару, который огхлестал его поясным ремнем.

– Вернись! – вопил брат Атхиры.

– Куда? – спросила Атхира.

– К Маду, – ответил он.

– Никогда, – сказала она.

– Ну, так Джасин-Дадзе тебя проклянет, и ты засохнешь, как дерево, которое ободрали весной, – сказал брат Атхиры.

Атхира заснула с мыслями обо всем этом.

Наутро она захворала ревматизмом.

– Я уже начинаю сохнуть, как дерево, которое ободрали весной, – промолвила она. – Это все проклятие Джасин-Дадзе.

И она действительно начала сохнуть, ибо сердце ее высохло от страха, а те, кто верит в проклятия, от проклятий и умирают. Сакату Сингху тоже стало страшно, ибо он любил Атхиру больше жизни.

Прошло два месяца, и вот брат Атхиры уже снова стоял за казармами и визжал:

– Ага! Ты сохнешь. Вернись!

– Скажи лучше, что мы вернемся оба, – проговорил Сакат Сингх.

– Я вернусь, – сказала Атхира.

– Да, но когда же? – спросил брат Атхиры.

– Когда-нибудь рано поутру, – ответил Сакат Сингх и пошел просить у полковника сахиб-бахадура недельный отпуск.

– Я сохну, как дерево, которое ободрали весной! – стонала Атхира.

– Тебе скоро станет лучше, – говорил Сакат Сингх и наконец рассказал ей о том, что задумал, и оба они тихо рассмеялись, ибо любили друг друга. Но с того часа Атхире стало лучше.

Они уехали вместе; путешествовали в вагоне третьего класса, как полагалось по воинскому уставу, а потом в повозке – по низким горам и пешком – по высоким. Атхира вдыхала сосновый запах своих родных гор. влажных – Гималайских гор.

– Хорошо быть живыми, – промолвила Атхира.

– Ха! – произнес Сакат Сингх. – Где дорога на Кодру и где дом лесника?..

– Двенадцать лет назад оно стоило сорок рупий, – сказал лесник, отдавая свое ружье.

– Вот тебе двадцать, – сказал Сакат Сингх, – а пули дашь мне самые лучшие.

– Как хорошо быть живыми, – задумчиво промолвила Атхира, вдыхая запах соснового перегоя; и они стали ждать, пока ночь не опустится на Кодру и Донга-Па.

На вершине горы, выше избушки, был заготовлен костер из сухих дров – это Маду сложил его, собираясь пережигать уголь на другой день.

– Молодец Маду – избавил нас от этого труда, – сказал Сакат Сингх, наткнувшись на костер, сложенный квадратом; каждая сторона его достигала двенадцати футов, а высота – четырех. – Подождем, пока не взойдет луна.

Когда луна взошла, Атхира преклонила колено на костре.

– Будь у меня хотя бы казенная винтовка, – с досадой проговорил Сакат Сингх, косясь на перевязанный проволокой ствол лесникова ружья.

– Поспеш, – сказала Атхира, и Сакат Сингх поспешил; но Атхира уже не спешила. Тогда он поджег костер со всех четырех углов и влез на него, перезаряжая ружье.

Язычки пламени стали пробиваться между толстыми бревнами, поднимаясь над хвостом.

– Правительству не худо бы обучить нас спускать курок ногой, – мрачно проворчал Сакат Сингх, обращаясь к луне.

То было последнее суждение сипая Саката Сингха.

Рано утром Маду пришел на огнище, вскрикнул от ужаса и побежал ловить полицейского, объезжавшего округ.

– Этот низкорожденный сгубил дрова для угля, а стояли они целых четыре рупии! – задыхался Маду. – Кроме того, он убил мою жену и оставил письмо, которое я не могу прочесть; оно привязано к сучку на сосне.

Прямым писарским почерком, усвоенным в полковой школе, сипай Сакат Сингх написал:

«Если что от нас останется, сожгите нас вместе, ибо мы совершили надлежащие молитвы. Кроме того, мы проклинали Маду и Малака, брата Атхиры, – оба они злые люди. Передайте мое почтение полковнику сахиб-бахадру».

Полицейский долго и пытливо смотрел на брачное ложе из красного и белого пепла, на котором, тускло чернея, лежал ствол лесникова ружья. Он рассеянно ткнул каблуком со шпорой полуобугленное бревно; с треском взлетели искры.

– Совершенно необычайные люди, – проговорил полицейский.

«Уиу... уиу... уию», – шептали язычки пламени.

Полицейский включил в свое донесение одни лишь голые факты, так как пенджабское правительство не поощряет романтики.

– Так кто же уплатит мне эти четыре рупии? – ныл Маду.

Захолустная комедия

*Потому что для всякой вещи
есть свое время и устав,
а человеку великое зло от того.*
Екклесиаст, VIII, 6.

Рок и правительство Индии превратили пост Кашиму в тюрьму, и так как страдающим в ней несчастным помощи ждать неоткуда, я пишу этот рассказ, уповая на то, что, быть может, он побудит индийское правительство отпустить ее обитателей-европейцев на все четыре стороны.

Кашима окружена кольцом скалистых Досехрийских гор. Весной она объята пламенем цветущих роз; летом розы умирают и горячие ветры дуют с гор; осенью белые туманы, ползущие с болот, окутывают всю местность, как бы заливая ее водой, а зимой морозы пригибают к земле все юное и нежное. Вид из Кашимы однообразный: совершенно ровное пространство, занятое пастбищами и пашнями, поднимающееся к голубовато-серым кустарникам Досехрийских гор.

Здесь нет никаких развлечений, кроме охоты на бекасов и тигров, но тигров уже давным-давно выгнали из горных пещер, где были их логовища, а бекасы прилетают только раз в году. От Кашимы до ближайшей к ней станции Наркары сто сорок три мили по колесной дороге. Но кашимцы никогда не ездят в Наркаду, где живет не менее двенадцати человек англичан. Они остаются в кольце Досехрийских гор.

Вся Кашима снимает с миссии Вансейтен обвинение в заранее обдуманном намерении причинить зло; но вся Кашима знает, что она, она одна заставила страдать всех других.

Это знают инженер Боулт, миссис Боулт и капитан Каррел. Они составляют все английское население Кашимы, за исключением майора Вансейтена, с которым никто не считается, и миссис Вансейтен, с которой считаются больше, чем со всеми прочими.

Имейте в виду, хоть вы и не поймете этого, что в маленьком, скрытом от мира обществе, где нет общественного мнения, все законы смягчаются. Будь израильяне простым цыганским табором в десяток шатров, их вождь ни за что на свете не стал бы трудиться влезать на гору и потом тащить вниз литографированное издание десяти заповедей, а мир избежал бы многих неприятностей. Когда человек живет в полном одиночестве на какой-то станции, он в известной мере рискует пойти по пути зла. Риск увеличивается в геометрической прогрессии с добавлением каждой единицы к числу населения вплоть до двенадцати – числа присяжных заседателей. Когда число это превышено, возникает страх и вытекающая из него сдержанность, а человеческие поступки несколько теряют свой нелепо-судорожный характер.

Мир и покой царили в Кашиме, пока не приехала туда миссис Вансейтен. Она была очаровательная женщина – так говорили все и всюду, – и она очаровывала всех и каждого. Несмотря на это, а быть может, поэтому, раз уж судьба так лукаво превратна, она любила только одного человека, а именно майора Вансейтена. Будь миссис Вансейтен некрасива или глупа, Кашима поняла бы это. Но она была красивая женщина, с очень спокойными глазами, серыми, словно озеро, перед тем как его коснется свет восходящего солнца. Ни один мужчина, видевший эти глаза, не мог впоследствии объяснить, что она за женщина и как на нее нужно смотреть. Глаза ослепляли его. Женщины говорили, что она “недурна собой, но портит себя старанием казаться такой серьезной”. Однако серьезность ее была естественной. Она не привыкла улыбаться. Она только шла сквозь жизнь, глядя на тех, кто проходил мимо, и женщинам это не нравилось, а мужчины преклонялись перед нею и благоговели.

Она знает, какое зло причинила Кашиме, и очень огорчена этим, но майор Вансейтен не может понять, почему миссис Боулт не заходит к вечернему чаю хотя бы раза три в неделю.

– Когда на станции живут только две женщины, им следует видаться почаще, – говорит майор Вансейтен.

Задолго до того, как миссис Вансейтен приехала из тех отдаленных мест, где есть общество и развлечения, Каррел понял, что миссис Боулт – единственная в мире женщина, созданная для него, и... вы не смеете их осуждать. Подобно небу или аду, Кашима лежала за пределами мира, а Досехрийские горы хорошо хранили их тайну. Боулта это не коснулось. Он часто уезжал в лагерь, где жил недели по две кряду. Это был жесткий, тяжелый человек, и ни миссис Боулт, ни Каррел не жалели его. Они обладали всей Кашимой и друг другом, обладали вполне, и в те дни Кашима была райским садом. Когда Боулт возвращался из своих поездок, он хлопал Каррела по спине, называл его «старым другом» и все трое обедали вместе. В те времена Кашима была счастлива, – божий суд казался ей почти таким же далеким, как Наркара или железная дорога, бежавшая к морю. Но правительство – а оно слуга рока – перевело майора Вансейтена в Кашиму, и с ним приехала его жена.

В Кашиме этикет почти такой же, как на пустынном острове. Когда на нем высаживается чужеземец, все островитяне выходят на берег приветствовать его. Кашима собралась на каменной платформе, близ Наркарской дороги, и устроила чай для Вансейтенов. Эта церемония считалась как бы официальным визитом и превращала приезжих в коренных граждан станции, пользующихся всеми ее правами и привилегиями. Обосновавшись, Вансейтены пригласили всю Кашиму на скромное новоселье, и, согласно древним обычаям станции, это ввело Кашиму в их дом.

Потом наступил период дождей, когда нельзя уже было ездить в лагерь, когда река Касан¹⁰ смыла Наркарскую дорогу и рогатый скот бродил по круглым, как чаши, кашимским пастбищам по колено в грязи. С Досехрийских гор спустились облака и покрыли собой Кашиму.

К концу периода дождей Боулт переменялся по отношению к жене и стал обращаться с нею демонстративно ласково. Они были женаты двенадцать лет, и такая перемена поразила миссис Боулт, ненавидевшую мужа, как ненавидит женщина, которая не видела ничего, кроме добра, от своего супруга и, несмотря на это добро, нанесла ему тяжкую обиду. А тут еще ей приходилось бороться со своей личной тревогой – сторожить свою личную собственность, Каррела. Целых два месяца дождь скрывал Досехрийские горы и, кроме того, многое другое; а когда он прекратился, миссис Боулт увидела, что ее любимый, ее Тед, – ибо в былые дни она звала его Тедом, когда Боулта не было поблизости, – ее Тед порывает узы верности.

«Эта Вансейтен отняла его у меня», – решила миссис Боулт, и, когда Боулт был в отъезде, она плакала, думая об этом, несмотря на преувеличенно страстную ласковость Теда. Горе в Кашиме расцветает пышным цветом, так же как и любовь, ибо, за исключением бега времени, здесь нет ничего такого, что могло бы ослабить их. Миссис Боулт ни разу не намекнула Каррелу о своих подозрениях, так как уверенности у нее не было, а не в ее характере было предпринимать какие-либо шаги без полной уверенности. Вот почему она поступила так, а не иначе.

Как-то раз, вечером, Боулт пришел домой и стал у входа в гостиную, прислонившись к дверному косяку и покусывая кончики усов. Миссис Боулт ставила цветы в вазу. Притязания на культурность встречаются даже в Кашиме.

– Жenuшка, – спокойно промолвил Боулт, – ты любишь меня?

– Ужасно! – ответила она со смехом. – Как можно об этом спрашивать?

– Но я говорю серьезно, – сказал Боулт. – Ты любишь меня?

¹⁰ Кашима, Досехрийские горы, Наркара, река Касан – все эти названия вымышлены.

Миссис Боулт бросила цветы и быстро обернулась.

– Ответить честно?

– Да-а, об этом я и просил.

Миссис Боулт пять минут кряду говорила тихим, ровным голосом, очень отчетливо, так, чтобы не быть превратно понятой. Когда Самсон ниспроверг столпы Газы¹¹, это было пустяковое дело по сравнению с тем, которое совершает женщина, сознательно разрушая крышу своего дома у себя над головой. Поблизости не было благоразумной подруги, способной посоветовать миссис Боулт, этой необычайно осторожной жене, держать язык за зубами. Она поразила Боулта в самое сердце, ибо ее сердце болело от сомнений в Карреле и вконец измучилось от долгого напряжения во время периода дождей, проведенного в одиноком ожидании. Когда она говорила, у нее не было определенного плана или цели. Фразы складывались сами собой, а Боулт слушал, прислонившись к дверному косяку и засунув руки в карманы. Когда же миссис Боулт умолкла и тяжело задышала перед тем, как залиться слезами, он расхохотался, пристально глядя перед собой на Досехрийские горы.

– Это все? – спросил он. – Спасибо, мне, видишь ли, только хотелось знать.

– Что ты будешь делать? – проговорила женщина всхлипывая.

– Делать? Ничего. Что же мне делать? Убить Каррела, или отослать тебя на родину, или просить отпуск, чтобы начать дело о разводе? До Наркары два дня езды верхом. – Он опять расхохотался и продолжал: – Я скажу тебе, что можешь сделать ты. Ты можешь пригласить Каррела обедать завтра... нет, в четверг, чтобы тебе хватило времени уложиться, и потом убежать с ним. Даю слово, что не стану за вами гнаться.

Он взял свой шлем и вышел из комнаты, а миссис Боулт сидела до тех пор, пока лунный свет не лег полосами на пол, и все думала, думала, думала. Под влиянием минуты она сделала все от нее зависящее, чтобы опрокинуть свой дом; но он не падал. Кроме того, она не могла понять своего мужа, и ей было страшно. И тут ей вдруг пришло в голову: какое безумие – эта ее ненужная правдивость, и показалось, что стыдно будет написать Каррелу: «Я сошла с ума и обо всем рассказала. Мой муж говорит, что я вольна уехать с тобой. Достань лошадей к четвергу, и после обеда мы убежим». В этом было что-то слишком хладнокровное, и это ей не нравилось. Поэтому она тихо сидела у себя дома и думала.

К обеду Боулт вернулся с прогулки бледный, измученный и усталый, и жена была тронута его скорбью. Когда томительный вечер стал подходить к концу, она начала бормотать какие-то жалкие слова, выражавшие нечто похожее на раскаяние. Боулт стряхнул с себя глубокое раздумье и произнес:

– О, это!.. Я об этом и не думал. Кстати, что говорит Каррел о вашем бегстве?

– Я его не видела, – ответила миссис Боулт. – Господи, неужели это все?

Но Боулт не слушал, и речь ее оборвалась.

Следующий день не принес утешения миссис Боулт, ибо Каррел не появлялся, и новая жизнь, которую она, обезумев на пять минут вчера вечером, пыталась построить на развалинах старой, не приближалась.

Боулт позавтракал, посоветовав ей последить с веранды, как будут кормить ее арабского пони, и ушел. Утро протянулось в томлении, и к полудню напряжение сделалось невыносимым. Миссис Боулт не могла плакать. Она выплакалась за ночь, и теперь ей не хотелось сидеть одной. Возможно, эта Вансейтен захочет поговорить с нею, а ведь разговоры облегчают душу, так, может, в ее обществе станет легче? Миссис Вансейтен была единственной на станции женщиной, кроме самой миссис Боулт.

¹¹ Когда Самсон ниспроверг столпы Газы... – По библейскому сказанию, Самсон, источник силы которого находился в его волосах, был пленен филистимлянами. В самый разгар праздника в Газе Самсон, обхватив столпы руками, обрушил храм вместе с тремя тысячами находившихся в нем филистимлян.

В Кашиме не установлено определенных часов для визитов. Каждый волен заходить ко всем остальным в любое время. Миссис Боулт надела большую шляпу и направилась к дому Вансейтенов, решив попросить одолжить ей журнал «Королева». Обе усадьбы соприкасались, и, вместо того чтобы пойти по дороге, миссис Боулт пролезла через отверстие в кактусовой изгороди и вошла в дом с заднего крыльца. Проходя по столовой, она услышала из-за портьеры, висевшей на дверях гостиной, голос своего мужа. Он говорил:

– Но клянусь честью! Клянусь душой и честью, не любит она меня, говорю вам. Она сказала мне это вчера вечером. Я тогда же передал бы вам ее слова, не будь тут Вансейтена. Если вы ради нее не хотите ответить мне, то можете быть спокойны. Это Каррел...

– Что? – произнесла миссис Вансейтен с истерическим смешком, – Каррел? Нет, этого не может быть! Вы оба, наверное, в чем-то жестоко ошибаетесь. Быть может, вы... вы вышли из себя или неправильно поняли ее, или что-нибудь в этом роде. Не может быть, чтобы все обстояло так плохо, как вы говорите.

Стремясь уклониться от домогательств Боулта, миссис Вансейтен изменила свою оборонительную тактику и отчаянно старалась отвлечь его внимание.

– Тут, наверное, какая-то ошибка, – настаивала она, – и все можно поправить.

Боулт разразился мрачным хохотом.

– Не может быть, что это из-за капитана Каррела! Он говорил мне, что никогда ни в малейшей... ни в малейшей степени не интересовался вашей женой, мистер Боулт. О, слушайте же меня! Он сказал, что нет. Он поклялся, что нет, – говорила миссис Вансейтен.

Зашуршала портьера, и этот разговор был прерван появлением маленькой худенькой женщины с большими темными кругами под глазами.

Миссис Вансейтен, ахнув, поднялась на ноги.

– Вы что сказали? – спросила миссис Боулт. – Не обращайтесь внимания на этого человека. Что сказал вам Тед? Что он вам сказал? Что он вам сказал?

Миссис Вансейтен беспомощно опустила на диван, подавленная волнением гостыи.

– Он сказал... Я не могу точно вспомнить, что он говорил... но я поняла из его слов, что... то есть... Но, миссис Боулт, право же, это довольно странный вопрос.

– Скажете вы мне или нет, что он вам говорил? – повторила миссис Боулт.

Тигр – и тот убежит от медведицы, у которой отняли ее детенышей, а миссис Вансейтен была лишь обыкновенная порядочная женщина.

В состоянии, близком к отчаянию, она заговорила:

– Ну хорошо! Он сказал, что никогда не любил вас, и, конечно, у него не было никаких оснований вас любить, и... и... это все.

– Вы сказали, он поклялся, что не любил меня. Это правда?

– Да, – произнесла миссис Вансейтен очень тихо.

Миссис Боулт закачалась и головой вперед рухнула на пол в обмороке.

– Что я вам говорил? – сказал Боулт, как будто разговор и не прерывался. – Сами видите: она любит его. – Свет начал пробиваться в его тупом мозгу, и он продолжал: – А он... Что он говорил вам?

Но миссис Вансейтен было не до объяснений и не до бесстрастных ответов; она стала на колени перед миссис Боулт.

– Ах вы негодяй! – выкрикнула она. – Неужели все мужчины такие? Помогите мне отнести ее в мою комнату... Ведь она рассекла себе лицо о стол. Ах, да замолчите же наконец и помогите мне отнести ее! Я ненавижу вас и ненавижу капитана Каррела. Поднимите ее осторожно; а теперь... уйдите! Уходите прочь!

Боулт отнес жену в спальню миссис Вансейтен и, не дожидаясь новой вспышки гнева и отвращения со стороны этой дамы, удалился, нераскаянный и пылающий ревностью. Значит, Каррел ухаживает за миссис Вансейтен... Собирается нанести Вансейтену такое же тяжкое

оскорбление, какое он нанес Боулту... и тут Боулт поймал себя на том, что ему хотелось бы знать, упадет ли в обморок миссис Вансейтен, если услышит, что ее любимый отрекся от нее.

Он все еще думал об этом, как вдруг на дороге показался скачущий галопом Каррел и, сдержав коня, весело крикнул:

– Доброе утро! Как всегда, ухаживали за миссис Вансейтен, а? Плохое занятие для степенного, женатого человека. Что скажет миссис Боулт?

Боулт поднял голову и медленно проговорил:

– Ах вы лжец!

Каррел изменился в лице.

– Что такое? – быстро спросил он.

– Ничего особенного, – ответил Боулт. – Моя жена сказала вам, что вы оба вольны отправиться куда угодно? Она была так любезна, что объяснила мне положение дел. Вы, оказывается, мой верный друг, Каррел, не так ли?

Каррел крикнул и попытался составить какую-то дурацкую фразу насчет своей готовности дать «удовлетворение». Но чувство его к этой женщине умерло, выдохлось в период дождей, и мысленно он бранил ее за ее непозволительную болтливость. Ведь так легко было бы порвать связь мягко и постепенно, а теперь на шею ему навязалась...

Голос Боулта прервал его мысли:

– Не думаю, что, убивая вас, я получу хоть какое-нибудь удовлетворение, и совершенно уверен, что вы не получите ни малейшего, убив меня.

Потом ворчливым тоном, до смешного несоразмерным его обиде, Боулт добавил:

– Очень жаль, что у вас не хватает порядочности остаться с женщиной, раз уж вы ее заполучили. Вы и ей тоже верный друг, не так ли?

Каррел долго и серьезно смотрел на него. Он уже переставал что-либо понимать.

– Что вы этим хотите сказать? – промолвил он.

Боулт ответил – скорее самому себе, чем Каррелу:

– Моя жена только что пришла к миссис Вансейтен, а вы, видимо, сказали миссис Вансейтен, что никогда не любили Эмму. Очевидно, вы солгали, по своему обыкновению. Какое вам дело до миссис Вансейтен или ей до вас? Хоть раз в жизни постарайтесь сказать правду.

Каррел, не моргнув глазом, выслушал двойное оскорбление и ответил другим вопросом:

– Продолжайте. Что случилось дальше?

– Эмма упала в обморок, – просто ответил Боулт. – Но слушайте-ка, что именно вы говорили миссис Вансейтен?

Каррел расхохотался. Миссис Боулт своим необузданным языком разрушила все его планы; но, по крайней мере, он теперь имел возможность отомстить человеку, в глазах которого попал в унижительное и позорное положение.

– Что я говорил ей? Как вы думаете, с какой целью мужчина лжет подобным образом? Если я не очень ошибаюсь, я, вероятно, говорил почти то же самое, что и вы.

– Я-то говорил правду, – отозвался Боулт, и на этот раз обращаясь скорее к самому себе, чем к Каррелу. – Эмма сказала мне, что она меня ненавидит. Она не имеет прав на меня.

– Еще бы! Конечно, нет! Ведь вы ей всего-навсего муж. А что сказала миссис Вансейтен, когда вы положили к ее ногам свое освободившееся сердце?

Задавая этот вопрос, Каррел чувствовал себя почти добродетельным.

– Это не имеет значения, – ответил Боулт, – и... не ваше дело!

– Нет, мое! Говорю вам, что мое! – начал Каррел без всякого стеснения.

Речь его была прервана взрывом хохота, вырвавшимся у Боулта. Каррел на секунду умолк, но вдруг тоже расхохотался и хохотал долго и громко, трясясь в седле. Неприятно оно звучало, это невеселое веселье двух мужчин на длинной белой полосе Наркарской дороги.

В Кашиме не было посторонних, но, будь они здесь, они подумали бы, что плен в Досехрийских горах свел с ума половину европейского населения станции. Но вот хохот резко оборвался. Каррел заговорил первым:

– Ну, что вы собираетесь делать?

Боулт посмотрел на дорогу, потом на горы.

– Ничего, – спокойно проговорил он. – А какой толк? Все это слишком скверно, чтобы что-нибудь делать. Придется нам продолжать прежнюю жизнь. Конечно, я волен называть вас мерзавцем и лжецом, но нельзя же мне ругать вас бесконечно. Кроме того, не думаю, чтобы сам я был намного лучше. Ведь уехать отсюда мы не можем. Так что же остается делать?

Каррел окинул взглядом кашимскую мышеловку и не ответил ни слова. Оскорбленный муж снова принялся высказывать свои необычные суждения:

– Поезжайте и поговорите с Эммой, если хотите. Бог свидетель, что мне нет дела до ваших поступков.

Он пошел вперед, а Каррел тупо глядел ему вслед. Каррел не поехал ни к миссис Боулт, ни к миссис Вансейтен. Он сидел в седле и думал, а пони его щипал траву на обочинах.

Стук приближающихся колес привел его в себя. Миссис Вансейтен везла домой миссис Боулт, бледную, измученную, со ссадиной на лбу.

– Остановитесь, пожалуйста, – сказала миссис Боулт. – Я хочу поговорить с Тедом.

Миссис Вансейтен послушалась, но, когда миссис Боулт наклонилась вперед, положив руку на крыло шарабана, Каррел заговорил первый:

– Я видел вашего мужа, миссис Боулт.

Дальнейших объяснений не потребовалось. Глаза мужчины впились не в миссис Боулт, а в ее спутницу. Миссис Боулт заметила этот взгляд.

– Поговорите с ним, – умоляла она сидевшую рядом с ней женщину. – О, поговорите с ним! Скажите ему то, что вы сейчас говорили мне! Скажите ему, что ненавидите его. Скажите, что ненавидите!

Она наклонилась вперед и горько заплакала, а конюх, бесстрастно соблюдая приличия, отошел подержать лошадь.

Миссис Вансейтен густо покраснела и уронила вожжи. Она не желала участвовать в столь непристойном объяснении.

– Меня это совершенно не касается, – холодно начала она, но рыдания миссис Боулт тронули ее, и она обратилась к мужчине. – Я не знаю, что мне нужно сказать вам, капитан Каррел. Не знаю, как мне назвать вас. Я думаю, что вы... вы поступили подло... а она ужасно рассекла себе лоб, ударившись об стол.

– Это не больно. Это ничего, – едва слышно проговорила миссис Боулт. Это пустяки. Скажите ему то, что говорили мне. Скажите, что не любите его. О Тед, неужели ты ей не поверишь?

– Миссис Боулт дала мне понять, что вы... что вы когда-то любили ее, продолжала миссис Вансейтен.

– Ну! – грубо проговорил Каррел. – Мне кажется, что миссис Боулт не худо бы прежде всего любить своего собственного мужа.

– Замолчите! – сказала миссис Вансейтен. – Выслушайте меня сначала. Я не люблю... я не хочу знать ничего о вас и миссис Боулт; но я хочу, чтобы вы знали, что я ненавижу вас, считаю вас подлецом и что я никогда, никогда больше не скажу вам ни слова. Я просто не решаюсь высказать все, что думаю о вас... Эх вы!

– Я хочу поговорить с Тедом, – простонала миссис Боулт, но шарабан тронулся, а Каррел остался на дороге, пристыженный и кипящий гневом на миссис Боулт.

Он ждал до тех пор, пока миссис Вансейтен, возвращаясь домой, не поравнялась с ним, а та, освободившись от присутствия миссис Боулт, еще раз откровенно высказала ему свое мнение о нем и о его поступках.

По вечерам вся Кашима имела обыкновение сходить на платформу у Наркарской дороги, чтобы пить чай и обсуждать события дня. На сей раз майор Вансейтен и его жена оказались на платформе одни, – что случилось едва ли не в первый раз на их памяти, – и бодрый майор, наперекор весьма разумным доводам своей жены, предполагавшей, что все остальное население поста, вероятно, расхворалось, настоял на том, чтобы вернуться и вытащить из обоих коттеджей их обитателей.

– Сумерничаете! – с величайшим негодованием обратился он к Боултам. Так не годится! Черт подери, все мы тут – одна семья! Придется вам выйти на свет божий, и Каррелу тоже. Я заставлю его принести банджо.

Так велика власть честного простодушия и хорошего пищеварения над нечистой совестью, что Кашима собралась на платформе в полном составе, включая банджо, и майор озаирил всю компанию своей широкой улыбкой. Он улыбался, а миссис Вансейтен на мгновение подняла глаза и окинула взглядом всю Кашиму. Взгляд ее говорил ясно. Майор Вансейтен никогда ни о чем не узнает. Он будет отщепенцем в этом счастливом семействе, запертом в клетке Досехрийских гор.

– Вы отвратительно фальшивите, Каррел, – сказал майор. – Дайте-ка мне банджо.

И он пел, терзая слушателей, покуда не показались звезды и Кашима не отправилась обедать.

Так началась в Кашиме новая жизнь, жизнь, которую создала миссис Боулт, когда однажды в сумерках язык ее развязался.

Миссис Вансейтен ничего не сказала майору, и так как он настаивал на поддержании тягостных добрососедских отношений, ей пришлось нарушить свой обет не говорить с Каррелом. Эти беседы, во время которых она поневоле должна выражать притворный интерес к собеседнику и не преступать границ вежливости, отлично раздувают пламя ревности и тупой ненависти в груди Боулта и пробуждают те же самые страсти в сердце его жены. Миссис Боулт ненавидит миссис Вансейтен за то, что миссис Вансейтен, – и тут глаза жены видят яснее, чем глаза мужа, – терпеть не может Теда. А Тед – доблестный капитан и уважаемый человек – знает теперь, что женщину, некогда любимую, можно возненавидеть до желания избить ее так, чтобы она умолкла навсегда. Но больше всего он негодует на то, что миссис Боулт не может понять своих ошибок.

Боулт и Каррел вместе ездят охотиться на тигров, как хорошие друзья и товарищи. Боулт поставил их отношения на самую удовлетворительную основу.

– Вы мерзавец, – говорит он Каррелу, – а я перестал себя уважать, но когда вы со мной, я знаю, что вы не с миссис Вансейтен и не мучите Эмму.

Каррел терпеливо слушает все, что говорит ему Боулт. Иногда они вместе уезжают на три дня, и тогда майор требует, чтобы жена его пошла посидеть с миссис Боулт, хотя миссис Вансейтен не раз уверяла, что всему на свете предпочитает общество своего мужа. Судя по тому, как она цепляется за него, надо думать, что она говорит правду.

Впрочем, как выражается майор: «В маленьком посту мы все должны жить дружно».

Оскар Уайльд Портрет Дориана



Предисловие

Художник – тот, кто создает прекрасное.

Раскрыть людям себя и скрыть художника – вот к чему стремится искусство.

Критик – это тот, кто способен в новой форме или новыми средствами передать свое впечатление от прекрасного.

Высшая, как и низшая, форма критики – один из видов автобиографии.

Те, кто в прекрасном находят дурное, – люди испорченные, и притом испорченность не делает их привлекательными. Это большой грех.

Те, кто способны узреть в прекрасном его высокий смысл, – люди культурные. Они не безнадёжны.

Но избранник – тот, кто в прекрасном видит лишь одно: Красоту.

Нет книг нравственных или безнравственных. Есть книги, хорошо написанные или написанные плохо. Вот и все.

Ненависть девятнадцатого века к Реализму – это ярость Калибана, увидевшего себя в зеркале.

Ненависть девятнадцатого века к Романтизму – это ярость Калибана, не находящего в зеркале своего отражения.

Для художника нравственная жизнь человека – лишь одна из тем его творчества. Этика же искусства в совершенном применении несовершенных средств.

Художник не стремится что-то доказывать. Доказать можно даже неоспоримые истины.

Художник – не моралист. Подобная склонность художника рождает непростительную манерность стиля.

Не приписывайте художнику нездоровых тенденций: ему дозволено изображать все.

Мысль и Слово для художника – средства Искусства.

Порок и Добродетель – материал для его творчества.

Если говорить о форме, – прообразом всех искусств является искусство музыканта.

Если говорить о чувстве – искусство актёра.

Во всяком искусстве есть то, что лежит на поверхности, и символ.

Кто пытается проникнуть глубже поверхности, тот идет на риск.

И кто раскрывает символ, идет на риск.

В сущности, Искусство – зеркало, отражающее того, кто в него смотрится, а вовсе не жизнь.

Если произведение искусства вызывает споры, – значит, в нем есть нечто новое, сложное и значительное.

Пусть критики расходятся во мнениях, – художник остается верен себе.

Можно простить человеку, который делает нечто полезное, если только он этим не восторгается. Тому же, кто создает бесполезное, единственным оправданием служит лишь страстная любовь к своему творению.

Всякое искусство совершенно бесполезно.

Оскар Уайльд

Глава I

Густой аромат роз наполнял мастерскую художника, а когда в саду поднимался летний ветерок, он, влетая в открытую дверь, приносил с собой то пьянящий запах сирени, то нежное благоухание алых цветов боярышника.

С покрытого персидскими чепраками дивана, на котором лежал лорд Генри Уоттон, куря, как всегда, одну за другой бесчисленные папиросы, был виден только куст ракитника – его золотые и душистые, как мед, цветы жарко пылали на солнце, а трепещущие ветви, казалось, едва выдерживали тяжесть этого сверкающего великолепия; по временам на длинных шелковых занавесах громадного окна мелькали причудливые тени пролетавших мимо птиц, создавая на миг подобие японских рисунков, – и тогда лорд Генри думал о желтолицых художниках далекого Токио, стремившихся передать движение и порыв средствами искусства, по природе своей статичного. Сердитое жужжание пчел, пробиравшихся в нескошенной высокой траве или однообразно и настойчиво круживших над осыпанной золотой пылью кудрявой жимолостью, казалось, делало тишину еще более гнетущей. Глухой шум Лондона доносился сюда, как гудение далекого органа.

Посреди комнаты стоял на мольберте портрет молодого человека необыкновенной красоты, а перед мольбертом, немного поодаль, сидел и художник, тот самый Бэзил Холлуорд, чье внезапное исчезновение несколько лет назад так взволновало лондонское общество и вызвало столько самых фантастических предположений.

Художник смотрел на прекрасного юношу, с таким искусством отображенного им на портрете, и довольная улыбка не сходила с его лица. Но вдруг он вскочил и, закрыв глаза, прижал пальцы к векам, словно желая удержать в памяти какой-то удивительный сон и боясь проснуться.

– Это лучшая твоя работа, Бэзил, лучшее из всего того, что тобой написано, – лениво промолвил лорд Генри. Непременно надо в будущем году послать ее на выставку в Гровенор. В Академию не стоит: Академия слишком обширна и общедоступна. Когда ни придешь, встречаешь там столько людей, что не видишь картин, или столько картин, что не удастся людей посмотреть. Первое очень неприятно, второе еще хуже. Нет, единственное подходящее место – это Гровенор.

– А я вообще не собираюсь выставлять этот портрет, – отозвался художник, откинув голову, по своей характерной привычке, над которой, бывало, трунили его товарищи в Оксфордском университете. – Нет, никуда я его не пошлю.

Удивленно подняв брови, лорд Генри посмотрел на Бэзила сквозь голубой дым, причудливыми кольцами поднимавшийся от его пропитанной опиумом папиросы.

– Никуда не пошлешь? Это почему же? По какой такой причине, мой милый? Чудаки, право, эти художники! Из кожи лезут, чтобы добиться известности, а когда слава приходит, они как будто тяготеют ею. Как это глупо! Если неприятно, когда о тебе много говорят, то еще хуже, когда о тебе совсем не говорят. Этот портрет вознес бы тебя, Бэзил, много выше всех молодых художников Англии, а старым внушил бы сильную зависть, если старики вообще еще способны испытывать какие-либо чувства.

– Знаю, ты будешь надо мною смеяться, – возразил художник, – но я, право, не могу выставить напоказ этот портрет... Я вложил в него слишком много самого себя.

Лорд Генри расхохотался, поудобнее устраиваясь на диване.

– Ну вот, я так и знал, что тебе это покажется смешным. Тем не менее это истинная правда.

– Слишком много самого себя? Ей-богу, Бэзил, я не подозревал в тебе такого самомнения. Не вижу ни малейшего сходства между тобой, мой черноволосый, суроволицый друг, и

этим юным Адонисом, словно созданным из слоновой кости и розовых лепестков. Пойми, Бэзил, он – Нарцисс, а ты... Ну конечно, лицо у тебя одухотворенное и все такое. Но красота, подлинная красота, исчезает там, где появляется одухотворенность. Высоко развитый интеллект – уже сам по себе некоторая аномалия, он нарушает гармонию лица. Как только человек начнет мыслить, у него непропорционально вытягивается нос или увеличивается лоб, или что-нибудь другое портит его лицо. Посмотри на выдающихся деятелей любой ученой профессии – как они уродливы! Исключение составляют, конечно, наши духовные пастыри, – но эти ведь не утруждают своих мозгов. Епископ в восемьдесят лет продолжает твердить то, что ему внушали, когда он был восемнадцатилетним юнцом, – естественно, что лицо его сохраняет красоту и благообразие. Судя по портрету, твой таинственный молодой приятель, чье имя ты упорно не хочешь назвать, очарователен, – значит, он никогда ни о чем не думает. Я в этом совершенно убежден. Наверное, он – безмозглое и прелестное божье создание, которое нам следовало бы всегда иметь перед собой: зимой, когда нет цветов, – чтобы радовать глаза, а летом – чтобы освежать разгоряченный мозг. Нет, Бэзил, не льсти себе: ты ничуть на него не похож.

– Ты меня не понял, Гарри, – сказал художник. – Разумеется, между мною и этим мальчиком нет никакого сходства. Я это отлично знаю. Да я бы и не хотел быть таким, как он. Ты пожимаешь плечами, не веришь? А между тем я говорю вполне искренне. В судьбе людей, физически или духовно совершенных, есть что-то роковое – точно такой же рок на протяжении всей истории как будто направлял неверные шаги королей. Гораздо безопаснее – ничем не отличаться от других. В этом мире всегда остаются в барыше глупцы и уроды. Они могут сидеть спокойно и смотреть на борьбу других. Им не дано узнать торжество побед, но зато они избавлены от горечи поражений. Они живут так, как следовало бы жить всем нам, – без всяких треволнений, безмятежно, ко всему равнодушные. Они никого не губят и сами не гибнут от вражеской руки... Ты знатен и богат, Гарри, у меня есть интеллект и талант, как бы он ни был мал, у Дориана Грея – его красота. И за все эти дары богов мы расплатимся когда-нибудь, заплатим тяжкими страданиями.

– Дориана Грея? Ага, значит, вот как его зовут? – спросил лорд Генри, подходя к Холлуорду.

– Да. Я не хотел называть его имя...

– Но почему же?

– Как тебе объяснить... Когда я очень люблю кого-нибудь, я никогда никому не называю его имени. Это все равно что отдать другим какую-то частицу дорогого тебе человека. И знаешь – я стал скрытен, мне нравится иметь от людей тайны. Это, пожалуй, единственное, что может сделать для нас современную жизнь увлекательной и загадочной. Самая обыкновенная безделица приобретает удивительный интерес, как только начинаешь скрывать ее от людей. Уезжая из Лондона, я теперь никогда не говорю своим родственникам, куда еду. Скажи я им – и все удовольствие пропадет. Это смешная прихоть, согласен, но она каким-то образом вносит в мою жизнь изрядную долю романтики. Ты, конечно, скажешь, что это ужасно глупо?

– Нисколько, – возразил лорд Генри, – Нисколько, дорогой Бэзил! Ты забываешь, что я человек женатый, а в том и состоит единственная прелесть брака, что обеим сторонам неизбежно приходится изощряться во лжи. Я никогда не знаю, где моя жена, и моя жена не знает, чем занят я. При встречах, – а мы с ней иногда встречаемся, когда вместе обедаем в гостях или бываем с визитом у герцога, – мы с самым серьезным видом рассказываем друг другу всякие небылицы. Жена делает это гораздо лучше, чем я. Она никогда не запутается, а со мной это бывает постоянно. Впрочем, если ей случается меня уличить, она не сердится и не устраивает сцен. Иной раз мне это даже досадно. Но она только подшучивает надо мной.

– Терпеть не могу, когда ты в таком тоне говоришь о своей семейной жизни, Гарри, – сказал Бэзил Холлуорд, подходя к двери в сад. – Я уверен, что на самом деле ты прекрасный муж, но стыдишься своей добродетели. Удивительный ты человек! Никогда не говоришь ничего нравственного – и никогда не делаешь ничего безнравственного. Твой цинизм – только поза.

– Знаю, что быть естественным – это поза, и самая ненавистная людям поза! – воскликнул лорд Генри со смехом.

Молодые люди вышли в сад и уселись на бамбуковой скамье в тени высокого лаврового куста. Солнечные зайчики скользили по его блестящим, словно лакированным листьям. В траве тихонько покачивались белые маргаритки.

Некоторое время хозяин и гость сидели молча. Потом лорд Генри посмотрел на часы.

– Ну, к сожалению, мне пора, Бэзил, – сказал он. – Но раньше, чем я уйду, ты должен ответить мне на вопрос, который я задал тебе.

– Какой вопрос? – спросил художник, не поднимая глаз.

– Ты отлично знаешь какой.

– Нет, Гарри, не знаю.

– Хорошо, я тебе напомню. Объясни, пожалуйста, почему ты решил не посылать на выставку портрет Дориана Грея. Я хочу знать правду.

– Я и сказал тебе правду.

– Нет. Ты сказал, что в этом портрете слишком много тебя самого. Но ведь это же ребячество!

– Пойми, Гарри. – Холлуорд посмотрел в глаза лорду Генри. – Всякий портрет, написанный с любовью, – это, в сущности, портрет самого художника, а не того, кто ему позировал. Не его, а самого себя раскрывает на полотне художник. И я боюсь, что портрет выдаст тайну моей души. Потому и не хочу его выставлять.

Лорд Генри расхохотался.

– И что же это за тайна? – спросил он.

– Так и быть, расскажу тебе, – начал Холлуорд как-то смущенно.

– Ну-с? Я сгораю от нетерпения, Бэзил, – настаивал лорд Генри, поглядывая на него.

– Да говорить-то тут почти нечего, Гарри... И вряд ли ты меня поймешь. Пожалуй, даже не поверишь.

Лорд Генри только усмехнулся в ответ и, наклонясь, сорвал в траве розовую маргаритку.

– Я совершенно уверен, что пойму, – отозвался он, внимательно разглядывая золотистый с белой опушкой пестик цветка. – А поверить я способен во что угодно, и тем охотнее, чем оно невероятнее.

Налетевший ветерок стряхнул несколько цветков с деревьев; тяжелые кисти сирени, словно сотканые из звездочек, медленно закачались в разнеженной зноем сонной тишине. У стены трещал кузнечик. Длинной голубой нитью на прозрачных коричневых крылышках промелькнула в воздухе стрекоза... Лорду Генри казалось, что он слышит, как стучит сердце в груди Бэзила, и он пытался угадать, что будет дальше.

– Ну, так вот... – заговорил художник, немного помолчав. – Месяца два назад мне пришлось быть на рауте у леди Брэндон. Ведь нам, бедным художникам, следует время от времени появляться в обществе, хотя бы для того, чтобы показать людям, что мы не дикари. Помню твои слова, что во фраке и белом галстуке кто угодно, даже биржевой маклер, может сойти за цивилизованного человека.

В гостиной леди Брэндон я минут десять беседовал с разряженными в пух и прах знатными вдовами и с нудными академиками, как вдруг почувствовал на себе чей-то взгляд. Я оглянулся и тут-то в первый раз увидел Дориана Грея. Глаза наши встретились, и я почув-

ствовал, что бледнею. Меня охватил какой-то инстинктивный страх, и я понял: передо мной человек, настолько обаятельный, что, если я поддамся его обаянию, он поглотит меня всего, мою душу и даже мое искусство. А я не хотел никаких посторонних влияний в моей жизни. Ты знаешь, Генри, какой у меня независимый характер. Я всегда был сам себе хозяин... во всяком случае, до встречи с Дорианом Греем. Ну а тут... не знаю, как и объяснить тебе... Внутренний голос говорил мне, что я накануне страшного перелома в жизни. Я смутно предчувствовал, что судьба готовит мне необычайные радости и столь же изощренные мучения. Мне стало жутко, и я уже шагнул было к двери, решив уйти. Сделал я это почти бессознательно, из какой-то трусости. Конечно, попытка сбежать не делает мне чести. По совести говоря...

– Совесть и трусость, в сущности, одно и то же, Бэзил. «Совесть» – официальное название трусости, вот и все.

– Не верю я этому, Гарри, да и ты, мне думается, не веришь... Словом, не знаю, из каких побуждений, – быть может, из гордости, так как я очень горд, – я стал пробираться к выходу. Однако у двери меня, конечно, перехватила леди Брэндон. «Уж не намерены ли вы сбежать так рано, мистер Холлуорд?» – закричала она. Знаешь, какой у нее пронзительный голос!

– Еще бы! Она – настоящий павлин, только без его красоты, – подхватил лорд Генри, разрывая маргаритку длинными нервными пальцами.

– Мне не удалось от нее отделаться. Она представила меня высочайшим особам, потом разным сановникам в звездах и орденах Подвязки и каким-то старым дамам в огромных диадемах и с крючковатыми носами. Всем она рекомендовала меня как своего лучшего друга, хотя видела меня второй раз в жизни. Видно, она забрала себе в голову включить меня в свою коллекцию знаменитостей. Кажется, в ту пору какая-то из моих картин имела большой успех, – во всяком случае, о ней болтали в грошовых газетах, а в наше время это патент на бессмертие.

И вдруг я очутился лицом к лицу с тем самым юношей, который с первого взгляда вызвал в моей душе столь странное волнение. Он стоял так близко, что мы почти столкнулись. Глаза наши встретились снова. Тут я безрассудно попросил леди Брэндон познакомить нас. Впрочем, это, пожалуй, было не такое уж безрассудство: все равно, если бы нас и не познакомили, мы неизбежно заговорили бы друг с другом. Я в этом уверен. Это же самое сказал мне потом Дориан. И он тоже сразу почувствовал, что нас свел не случай, а судьба.

– А что же леди Брэндон сказала тебе об этом очаровательном юноше? – спросил лорд Генри. Я ведь знаю ее манеру давать беглую характеристику каждому гостю. Помню, как она раз подвела меня к какому-то грозному краснолицему старцу, увешанному орденами и лентами, а по дороге трагическим шепотом – его, наверное, слышали все в гостиной – сообщила мне на ухо самые ошеломительные подробности его биографии. Я просто-напросто сбежал от нее. Я люблю сам, без чужой помощи, разбираться в людях. А леди Брэндон описывает своих гостей точь-в-точь, как оценщик на аукционе продающиеся с молотка вещи: она – либо рассказывает о них самое сокровенное, – либо сообщает вам все, кроме того, что вы хотели бы узнать.

– Бедная леди Брэндон! Ты слишком уж строг к ней, Гарри, – рассеянно заметил Холлуорд.

– Дорогой мой, она стремилась создать у себя «салон», но получился попросту ресторан. А ты хочешь, чтобы я ею восхищался? Ну, бог с ней, скажи-ка мне лучше, как она отозвалась о Дориане Грее?

– Пробормотала что-то такое вроде: «Прелестный мальчик... мы с его бедной матерью были неразлучны... Забыла, чем он занимается... Боюсь, что ничем... Ах да, играет на рояле... Или на скрипке, дорогой мистер Грей?» Оба мы не могли удержаться от смеха, и это нас как-то сразу сблизило.

– Недурно, если дружба начинается смехом, и лучше всего, если она им же кончается, – заметил лорд Генри, срывая еще одну маргаритку.

Холлуорд покачал головой.

– Ты не знаешь, что такое настоящая дружба, Гарри, – сказал он тихо. – Да и вражда настоящая тебе тоже незнакома. Ты любишь всех, а любить всех – значит не любить никого. Тебе все одинаково безразлично.

– Как ты несправедлив ко мне! – воскликнул лорд Генри. Сдвинув шляпу на затылок, он смотрел на облачка, проплывавшие в бирюзовой глубине летнего неба и похожие на растрепанные мотки блестящего шелка. – Да, да, возмутительно несправедлив! Я далеко не одинаково отношусь к людям. В близкие друзья выбираю себе людей красивых, в приятели – людей с хорошей репутацией, врагов завожу только умных. Тщательнее всего следует выбирать врагов. Среди моих недругов нет ни единого глупца. Все они – люди мыслящие, достаточно интеллигентные и потому умеют меня ценить. Ты скажешь, что мой выбор объясняется тщеславием? Что ж, пожалуй, это верно.

– И я так думаю, Гарри. Между прочим, согласно твоей схеме я тебе не друг, а просто приятель?

– Дорогой мой Бэзил, ты для меня гораздо больше, чем «просто приятель».

– И гораздо меньше, чем друг? Значит, что-то вроде брата, не так ли?

– Ну, нет! К братьям своим я не питаю нежных чувств. Мой старший брат никак не хочет умереть, а младшие только это и делают.

– Гарри! – остановил его Холлуорд, нахмутив брови.

– Дружище, это же говорится не совсем всерьез. Но, признаюсь, я действительно не терплю свою родню. Это потому, должно быть, что мы не выносим людей с теми же недостатками, что у нас. Я глубоко сочувствую английским демократам, которые возмущаются так называемыми «пороками высших классов». Люди низшего класса инстинктивно понимают, что пьянство, глупость и безнравственность должны быть их привилегиями, и если кто-либо из нас страдает этими пороками, он тем самым как бы узурпирует их права. Когда бедняга Саусуорк вздумал развестись с женой, негодование масс было прямо-таки великолепно. Между тем я не поручусь за то, что хотя бы десять процентов пролетариев ведет добродетельный образ жизни.

– Во всем, что ты тут нагородил, нет ни единого слова, с которым можно согласиться, Гарри! И ты, конечно, сам в это не веришь.

Лорд Генри погладил каштановую бородку, похлопал своей черной тростью с кисточкой по носку лакированного ботинка.

– Какой ты истый англичанин, Бэзил! Вот уже второй раз я слышу от тебя это замечание. Попробуй высказать какую-нибудь мысль типичному англичанину, – а это большая неосторожность! – так он и не подумает разобраться, верная это мысль или неверная. Его интересует только одно: убежден ли ты сам в том, что говоришь. А между тем важна идея, независимо от того, искренне ли верит в нее тот, кто ее высказывает. Идея, пожалуй, имеет тем большую самостоятельную ценность, чем менее верит в нее тот, от кого она исходит, ибо она тогда не отражает его желаний, нужд и предрассудков... Впрочем, я не собираюсь обсуждать с тобой политические, социологические или метафизические вопросы. Люди меня интересуют больше, чем их принципы, а интереснее всего – люди без принципов. Поговорим о Дориане Грее. Часто вы встречаетесь?

– Каждый день. Я чувствовал бы себя несчастным, если бы не виделся с ним ежедневно. Я без него жить не могу.

– Вот чудеса! А я-то думал, что ты всю жизнь будешь любить только свое искусство.

– Дориан для меня теперь – все мое искусство, – сказал художник серьезно. – Видишь ли, Гарри, иногда я думаю, что в истории человечества есть только два важных момента.

Первый – это появление в искусстве новых средств выражения, второй – появление в нем нового образа. И лицо Дориана Грея когда-нибудь станет для меня тем, чем было для венецианцев изобретение масляных красок в живописи или для греческой скульптуры – лик Антиноя. Конечно, я пишу Дориана красками, рисую, делаю эскизы... Но дело не только в этом. Он для меня гораздо больше, чем модель или натурщик. Я не говорю, что не удовлетворен своей работой, я не стану тебя уверять, что такую красоту невозможно отобразить в искусстве. Нет ничего такого, чего не могло бы выразить искусство. Я вижу – то, что я написал со времени моего знакомства с Дорианом Греем, написано хорошо, это моя лучшая работа. Не знаю, как это объяснить и поймешь ли ты меня... Встреча с Дорианом словно дала мне ключ к чему-то совсем новому в живописи, открыла мне новую манеру письма. Теперь я вижу вещи в ином свете и все воспринимаю по-иному. Я могу в своем искусстве воссоздавать жизнь средствами, которые прежде были мне неведомы. «Мечта о форме в дни, когда царствует мысль», – кто это сказал? Не помню. И такой мечтой стал для меня Дориан Грей. Одно присутствие этого мальчика – в моих глазах он еще мальчик, хотя ему уже минуло двадцать лет... ах, не знаю, можешь ли ты себе представить, что значит для меня его присутствие! Сам того не подозревая, он открывает мне черты какой-то новой школы, школы, которая будет сочетать в себе всю страстность романтизма и все совершенство эллинизма. Гармония духа и тела – как это прекрасно! В безумии своем мы разлучили их, мы изобрели вульгарный реализм и пустой идеализм. Ах, Гарри, если бы ты только знал, что для меня Дориан Грей! Помнишь тот пейзаж, за который Эгнью предлагал мне громадные деньги, а я не захотел с ним расстаться? Это одна из лучших моих картин. А почему? Потому что, когда я ее писал, Дориан Грей сидел рядом. Какое-то его неуловимое влияние на меня помогло мне впервые увидеть в обыкновенном лесном пейзаже чудо, которое я всегда искал и не умел найти.

– Бэзил, это поразительно! Я должен увидеть Дориана Грея! Холлуорд поднялся и стал ходить по саду. Через несколько минут он вернулся к скамье.

– Пойми, Гарри, – сказал он, – Дориан Грей для меня попросту мотив в искусстве. Ты, быть может, ничего не увидишь в нем, а я вижу все. И в тех моих картинах, на которых Дориан не изображен, его влияние чувствуется всего сильнее. Как я уже тебе сказал, он словно подсказывает мне новую манеру письма. Я нахожу его, как откровение, в изгибах некоторых линий, в нежной прелести иных тонов. Вот и все.

– Но почему же тогда ты не хочешь выставить его портрет? – спросил лорд Генри.

– Потому что я невольно выразил в этом портрете ту непостижимую влюбленность художника, в которой я, разумеется, никогда не признавался Дориану. Дориан о ней не знает. И никогда не узнает. Но другие люди могли бы отгадать правду, а я не хочу обнажать душу перед их любопытными и близорукими глазами. Никогда я не позволю им рассматривать мое сердце под микроскопом. Понимаешь теперь, Гарри? В это полотно я вложил слишком много души, слишком много самого себя.

– А вот поэты – те не так стыдливы, как ты. Они прекрасно знают, что о любви писать выгодно, на нее большой спрос. В наше время разбитое сердце выдерживает множество изданий.

– Я презираю таких поэтов! – воскликнул Холлуорд. – Художник должен создавать прекрасные произведения искусства, не внося в них ничего из своей личной жизни. В наш век люди думают, что произведение искусства должно быть чем-то вроде автобиографии. Мы утратили способность отвлеченно воспринимать красоту. Я надеюсь когда-нибудь показать миру, что такое абстрактное чувство прекрасного, – и потому-то мир никогда не увидит портрет Дориана Грея.

– По-моему, ты не прав, Бэзил, но не буду с тобой спорить. Спорят только безнадежные кретины. Скажи, Дориан Грей очень тебя любит?

Художник задумался.

– Дориан ко мне привязан, – ответил он после недолгого молчания. – Знаю, что привязан. Оно и понятно: я ему всячески льщу. Мне доставляет странное удовольствие говорить ему вещи, которые говорить не следовало бы, – хотя я и знаю, что потом пожалею об этом. В общем, он относится ко мне очень хорошо, и мы проводим вдвоем целые дни, беседуя на тысячу тем. Но иногда он бывает ужасно нечуток, и ему как будто очень нравится мучить меня. Тогда я чувствую, Гарри, что отдал всю душу человеку, для которого она – то же, что цветок в петлице, украшение, которым он будет тешить свое тщеславие только один летний день.

– Летние дни долги, Бэзил, – сказал вполголоса лорд Генри. – И, быть может, ты пресытишься раньше, чем Дориан. Как это ни печально, Гений, несомненно, долговечнее Красоты. Потому-то мы так и стремимся сверх всякой меры развивать свой ум. В жестокой борьбе за существование мы хотим сохранить хоть что-нибудь устойчивое, прочное, и начиная голову фактами и всяким хламом в бессмысленной надежде удержать за собой место в жизни. Высокообразованный, сведущий человек – вот современный идеал. А мозг такого высокообразованного человека – это нечто страшное! Он подобен лавке антиквария, набитой всяким пыльным старьем, где каждая вещь оценена гораздо выше своей настоящей стоимости... Да, Бэзил, я все-таки думаю, что ты пресытишься первый. В один прекрасный день ты взглянешь на своего друга – и красота его покажется тебе уже немного менее гармоничной, тебе вдруг не понравится тон его кожи или что-нибудь еще. В душе ты горько упрекнешь в этом его и самым серьезным образом начнешь думать, будто он в чем-то виноват перед тобой. При следующем свидании ты будешь уже совершенно холоден и равнодушен. И можно только очень пожалеть об этой будущей перемене в тебе. То, что ты мне сейчас рассказал, – настоящий роман. Можно сказать, роман на почве искусства. А пережив роман своей прежней жизни, человек – увы! – становится так прозаичен!

– Не говори так, Гарри. Я на всю жизнь пленен Дорианом. Тебе меня не понять: ты такой непостоянный.

– Ах, дорогой Бэзил, именно поэтому я и способен понять твои чувства. Тем, кто верен в любви, доступна лишь ее банальная сущность. Трагедию же любви познают лишь те, кто изменяет.

Достав изящную серебряную спичечницу, лорд Генри закурил папиросу с самодовольным и удовлетворенным видом человека, сумевшего вместить в одну фразу всю житейскую мудрость.

В блестящих зеленых листьях плюща возились и чирикали воробьи, голубые тени облаков, как стаи быстрых ласточек, скользили по траве. Как хорошо было в саду! «И как увлекательно интересны чувства людей, гораздо интереснее их мыслей! – говорил себе лорд Генри. – Собственная душа и страсти друзей – вот что самое занятное в жизни».

Он с тайным удовольствием вспомнил, что, засидевшись у Бэзила Холлуорда, пропустил скучный завтрак у своей тетушки. У нее, несомненно, завтракает сегодня лорд Гудбоди, и разговор все время вертится вокруг образцовых столовых и ночлежных домов, которые необходимо открыть для бедняков. При этом каждый восхваляет те добродетели, в которых ему самому нет надобности упражняться: богачи проповедуют бережливость, а бездельники красноречиво распространяются о великом значении труда. Как хорошо, что на сегодня он избавлен от всего этого!

Мысль о тетушке вдруг вызвала в уме лорда Генри одно воспоминание. Он повернулся к Холлуорду.

– Знаешь, я сейчас вспомнил...

– Что вспомнил, Гарри?

– Вспомнил, где я слышал про Дориана Грея.

– Где же? – спросил Холлуорд, сдвинув брови.

– Не смотри на меня так сердито, Бэзил. Это было у моей тетушки, леди Агаты. Она рассказывала, что нашла премилого молодого человека, который обещал помогать ей в Ист-Энде, и зовут его Дориан Грей. Заметь, она и словом не упомянула о его красоте. Женщины, – во всяком случае, добродетельные женщины, – не ценят красоту. Тетушка сказала только, что он юноша серьезный, с прекрасным сердцем, – и я сразу представил себе субъекта в очках, с прямыми волосами, веснушчатой физиономией и огромными ногами. Жаль, я тогда не знал, что этот Дориан – твой друг.

– А я очень рад, что ты этого не знал, Гарри.

– Почему?

– Я не хочу, чтобы вы познакомились.

– Не хочешь, чтобы мы познакомились?

– Нет.

– Мистер Дориан Грей в студии, сэр, – доложил лакей, появляясь в саду.

– Ага, теперь тебе волей-неволей придется нас познакомить! – со смехом воскликнул лорд Генри.

Художник повернулся к лакею, который стоял, жмурясь от солнца.

– Попросите мистера Грея подождать, Паркер: я сию минуту приду.

Лакей поклонился и пошел по дорожке к дому. Тогда Холлуорд посмотрел на лорда Генри.

– Дориан Грей – мой лучший друг, – сказал он. – У него открытая и светлая душа – твоя тетушка была совершенно права. Смотри, Гарри, не испорти его! Не пытайся на него влиять. Твое влияние было бы губительно для него. Свет велик, в нем много интереснейших людей. Так не отнимай же у меня единственного человека, который вдохнул в мое искусство то прекрасное, что есть в нем. Все мое будущее художника зависит от него. Помни, Гарри, я надеюсь на твою совесть!

Он говорил очень медленно, и слова, казалось, вырывались у него помимо воли.

– Что за глупости! – с улыбкой перебил лорд Генри и, взяв Холлуорда под руку, почти насильно повел его в дом.

Глава II

В мастерской они застали Дориана Грея. Он сидел за роялем, спиной к ним, и перелистывал шумановский альбом «Лесные картинки».

– Что за прелесть! Я хочу их разучить, – сказал он, не оборачиваясь. – Дайте их мне на время, Бэзил.

– Дам, если вы сегодня будете хорошо позировать, Дориан.

– Ох, надоело мне это! И я вовсе не стремлюсь иметь свой портрет в натуральную величину, – возразил юноша капризно. Повернувшись на табурете, он увидел лорда Генри и поспешно встал, порозовев от смущения, – Извините, Бэзил, я не знал, что у вас гость.

– Знакомьтесь, Дориан, это лорд Генри Уоттон, мой старый товарищ по университету. Я только что говорил ему, что вы превосходно позируете, а вы своим брюзжанием все испортили!

– Но ничуть не испортили мне удовольствия познакомиться с вами, мистер Грей, – сказал лорд Генри, подходя к Дориану и протягивая ему руку. – Я много слышал о вас от моей тетушки. Вы – ее любимец и, боюсь, одна из ее жертв.

– Как раз теперь я у леди Агаты на плохом счету, – отозвался Дориан с забавно-покаянным видом. – Я обещал в прошлый вторник поехать с ней на концерт в один уайтчепельский клуб – и совершенно забыл об этом. Мы должны были там играть с ней в четыре руки, – кажется, даже целых три дуэта. Уж не знаю, как она теперь меня встретит. Боюсь показаться ей на глаза.

– Ничего, я вас помирю. Тетушка Агата вас очень любит. И то, что вы не выступили вместе с нею на концерте, вряд ли так уж важно. Публика, вероятно, думала, что исполняется дуэт, – ведь за роялем тетя Агата вполне может нашуметь за двоих.

– Такое мнение крайне обидно для нее и не очень-то лестно для меня, – сказал Дориан, смеясь. Лорд Генри смотрел на Дориана, любуясь его ясными голубыми глазами, золотистыми кудрями, изящным рисунком алого рта. Этот юноша в самом деле был удивительно красив, и что-то в его лице сразу внушало доверие. В нем чувствовалась искренность и чистота юности, ее целомудренная пылкость. Легко было поверить, что жизнь еще ничем не загрязнила этой молодой души. Недаром Бэзил Холлуорд боготворил Дориана!

– Ну, можно ли такому очаровательному молодому человеку заниматься благотворительностью! Нет, вы для этого слишком красивы, мистер Грей, – сказал лорд Генри и, развалясь на диване, достал свой портсигар.

Художник тем временем приготовил кисти и смешивал краски на палитре. На хмуром его лице было заметно сильное беспокойство. Услышав последнее замечание лорда Генри, он быстро оглянулся на него и после минутного колебания сказал:

– Гарри, мне хотелось бы закончить сегодня портрет. Ты не обидишься, если я попрошу тебя уйти?

Лорд Генри с улыбкой посмотрел на Дориана.

– Уйти мне, мистер Грей?

– Ах нет, лорд Генри, пожалуйста, не уходите! Бэзил, я вижу, сегодня опять в дурном настроении, а я терпеть не могу, когда он сердится. Притом вы еще не объяснили, почему мне не следует заниматься благотворительностью?

– Стоит ли объяснять это, мистер Грей? На такую скучную тему говорить пришлось бы серьезно. Но я, конечно, не уйду, раз вы меня просите остаться. Ты ведь не будешь возражать, Бэзил? Ты сам не раз говорил мне, что любишь, когда кто-нибудь занимает тех, кто тебе позирует.

Холлуорд закусил губу.

– Конечно, оставайся, раз Дориан этого хочет. Его прихоти – закон для всех, кроме него самого.

Лорд Генри взял шляпу и перчатки.

– Несмотря на твои настояния, Бэзил, я, к сожалению, должен вас покинуть. Я обещал встретиться кое с кем в Орлеанском клубе. До свиданья, мистер Грей. Навестите меня как-нибудь на Керзон-стрит. В пять я почти всегда дома. Но лучше вы сообщите заранее, когда захотите прийти: было бы обидно, если бы вы меня не застали.

– Бэзил, – воскликнул Дориан Грей, – если лорд Генри уйдет, я тоже уйду! Вы никогда рта не раскрываете во время работы, и мне ужасно надоедает стоять на подмостках и все время мило улыбаться. Попросите его не уходить!

– Оставайся, Гарри. Дориан будет рад, и меня ты этим очень обяжешь, – сказал Холлуорд, не отводя глаз от картины. – Я действительно всегда молчу во время работы и не слушаю, что мне говорят, так что моим бедным натурщикам, должно быть, нестерпимо скучно. Пожалуйста, посиди с нами.

– А как же мое свидание в клубе?

Художник усмехнулся.

– Не думаю, чтобы это было так уж важно. Садись, Гарри. Ну а вы, Дориан, станьте на подмостки и поменьше вертитесь. Да не очень-то слушайте лорда Генри – он на всех знакомых, кроме меня, оказывает самое дурное влияние.

Дориан Грей с видом юного мученика взошел на помост и, сделав недовольную гримасу, переглянулся с лордом Генри. Этот друг Бэзила ему очень нравился. Он и Бэзил были совсем разные, составляли прелюбопытный контраст. И голос у лорда Генри был такой приятный! Выждав минуту, Дориан спросил:

– Лорд Генри, вы в самом деле так вредно влияете на других?

– Хорошего влияния не существует, мистер Грей. Всякое влияние уже само по себе безнравственно, – безнравственно с научной точки зрения.

– Почему же?

– Потому что влиять на другого человека – это значит передать ему свою душу. Он начнет думать не своими мыслями, пылать не своими страстями. И добродетели у него будут не свои, и грехи, – если предположить, что таковые вообще существуют, – будут заимствованные. Он станет отголоском чужой мелодии, актером, выступающим в роли, которая не для него написана. Цель жизни – самовыражение. Проявить во всей полноте свою сущность – вот для чего мы живем. А в наш век люди стали бояться самих себя. Они забыли, что высший долг – это долг перед самим собой. Разумеется, они милосердны. Они накормят голодного, оденут нищего. Но их собственные души наги и умирают с голоду. Мы утратили мужество. А может быть, его у нас никогда и не было. Боязнь общественного мнения, эта основа морали, и страх перед богом, страх, на котором держится религия, – вот что властвует над нами. Между тем...

– Будьте добры, Дориан, поверните-ка голову немного вправо, – попросил художник.

Поглощенный своей работой, он ничего не слышал и только подметил на лице юноши выражение, какого до сих пор никогда не видел.

– А между тем, – своим низким, певучим голосом продолжал лорд Генри с характерными для него плавными жестами, памятыми всем, кто знал его еще в Итоне, – мне думается, что, если бы каждый человек мог жить полной жизнью, давая волю каждому чувству и выражение каждой мысли, осуществляя каждую свою мечту, – мир ощутил бы вновь такой мощный порыв к радости, что забыты были бы все болезни средневековья, и мы вернулись бы к идеалам эллинизма, а может быть, и к чему-либо еще более ценному и прекрасному. Но и самый смелый из нас боится самого себя. Самоотречение, этот трагический пережиток тех диких времен, когда люди себя калечили, омрачает нам жизнь. И мы расплачиваемся

за это самоограничение. Всякое желание, которое мы стараемся подавить, бродит в нашей душе и отравляет нас. А согрешив, человек избавляется от влечения к греху, ибо осуществление – это путь к очищению. После этого остаются лишь воспоминания о наслаждении или сладострастие раскаяния. Единственный способ отделаться от искушения – уступить ему. А если вздумаешь бороться с ним, душу будет томить влечение к запретному, и тебя измучают желания, которые чудовищный закон, тобой же созданный, признал порочными и преступными. Кто-то сказал, что величайшие события в мире – это те, которые происходят в мозгу у человека. А я скажу, что и величайшие грехи мира рождаются в мозгу, и только в мозгу. Да ведь и в вас, мистер Грей, даже в пору светлого отрочества и розовой юности, уже бродили страсти, пугавшие вас, мысли, которые вас приводили в ужас. Вы знали мечты и сновидения, при одном воспоминании о которых вы краснеете от стыда...

– Пойдите, пойдите! – пробормотал, запинаясь, Дориан Грей. – Вы смутили меня, я не знаю, что сказать... С вами можно бы поспорить, но я сейчас не нахожу слов... Не говорите больше ничего! Дайте мне подумать... Впрочем, лучше не думать об этом!

Минут десять Дориан стоял неподвижно, с полуоткрытым ртом и странным блеском в глазах. Он смутно сознавал, что в нем просыпаются какие-то совсем новые мысли и чувства. Ему казалось, что они пришли не извне, а поднимались из глубины его существа.

Да, он чувствовал, что несколько слов, сказанных этим другом Бэзила, сказанных, вероятно, просто так, между прочим, и намеренно парадоксальных, затронули в нем какую-то тайную струну, которой до сих пор не касался никто, и сейчас она трепетала, вибрировала порывистыми толчками.

До сих пор так волновала его только музыка. Да, музыка не раз будила в его душе волнение, но волнение смутное, бездумное. Она ведь творит в душе не новый мир, а скорее – новый хаос. А тут прозвучали слова! Простые слова – но как они страшны! От них никуда не уйдешь. Как они ясны, неотразимо сильны и жестоки! И вместе с тем – какое в них таится коварное очарование! Они, казалось, придавали зримую и осязаемую форму неопределенным мечтам, и в них была своя музыка, сладостнее звуков лютни и виолы. Только слова! Но есть ли что-либо весомее слов?

Да, в ранней юности он, Дориан, не понимал некоторых вещей. Сейчас он понял все. Жизнь вдруг засверкала перед ним яркими красками. Ему казалось, что он шагает среди бушующего пламени. И как он до сих пор не чувствовал этого?

Лорд Генри с тонкой усмешкой наблюдал за ним. Он знал, когда следует помолчать. Дориан живо заинтересовал его, и он сам сейчас удивлялся тому впечатлению, какое произвели на юношу его слова. Ему вспомнилась одна книга, которую он прочитал в шестнадцать лет; она открыла ему тогда многое такое, чего он не знал раньше. Быть может, Дориан Грей сейчас переживает то же самое? Неужели стрела, пущенная наугад, просто так, в пространство, попала в цель? Как этот мальчик мил!..

Холлуорд писал с увлечением, как всегда, чудесными, смелыми мазками, с тем подлинным изяществом и утонченностью, которые – в искусстве по крайней мере – всегда являются признаком мощного таланта. Он не замечал наступившего молчания.

– Бэзил, я устал стоять, – воскликнул вдруг Дориан, – Мне надо побыть на воздухе, в саду. Здесь очень душно!

– Ах, простите, мой друг! Когда я пишу, я забываю обо всем. А вы сегодня стояли, не шелохнувшись. Никогда еще вы так хорошо не позировали. И я поймал то выражение, какое все время искал. Полуоткрытые губы, блеск в глазах... Не знаю, о чем тут разглагольствовал Гарри, но, конечно, это он вызвал на вашем лице такое удивительное выражение. Должно быть, наговорил вам кучу комплиментов? А вы не верьте ни единому его слову.

– Нет, он говорил мне вещи совсем не лестные. Поэтому я и не склонен ему верить.

– Ну, ну, в душе вы отлично знаете, что поверили всему, – сказал лорд Генри, задумчиво глядя на него своими томными глазами. Я, пожалуй, тоже выйду с вами в сад, здесь невыносимо жарко. Бэзил, прикажи подать нам какого-нибудь питья со льдом... и хорошо бы с земляничным соком.

– С удовольствием, Гарри. Позвони Паркеру, и я скажу ему, что принести. Я приду к вам в сад немного погодя, надо еще подработать фон. Но не задерживай Дориана надолго. Мне сегодня, как никогда, хочется писать. Этот портрет будет моим шедевром. Даже в таком виде, как сейчас, он уже чудо как хорош.

Выйдя в сад, лорд Генри нашел Дориана у куста сирени: зарывшись лицом в прохладную массу цветов, он упивался их ароматом, как жаждущий – вином. Лорд Генри подошел к нему вплотную и дотронулся до его плеча.

– Вот это правильно, – сказал он тихо. – Душу лучше всего лечить ощущениями, а от ощущений лечит только душа.

Юноша вздрогнул и отступил. Он был без шляпы, и ветки растрепали его непокорные кудри, спутав золотистые пряди. Глаза у него были испуганные, как у внезапно разбуженного человека. Тонко очерченные ноздри нервно вздрагивали, алые губы трепетали от какого-то тайного волнения.

– Да, – продолжал лорд Генри, – надо знать этот великий секрет жизни: лечите душу ощущениями, а ощущения пусть врачует душа. Вы – удивительный человек, мистер Грей. Вы знаете больше, чем вам это кажется, но меньше, чем хотели бы знать.

Дориан Грей нахмурился и отвел глаза. Ему безотчетно нравился высокий и красивый человек, стоявший рядом с ним. Смуглое романтическое лицо лорда Генри, его усталое выражение вызывало интерес, и что-то завораживающее было в низком и протяжном голосе. Даже руки его, прохладные, белые и нежные, как цветы, таили в себе странное очарование. В движениях этих рук, как и в голосе, была музыка, и казалось, что они говорят своим собственным языком.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.